ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ПЯТАЯ

ОГИЗ ОМГИЗ 1945

57.14

ОПЕЧАТКИ

(по вине типографии)

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
54	14 сверху	клин	клинка
93	9 снизу	дальше.	дальше.[2]
107	20 снизу	волнодумных	вольнодумных
111	6 снизу	была по-	была
111	2 снизу	петрашенцев	петрашевцев
112	3 снизу	в 18 9	в 1829
119	5 сверху	до Кронштадта.	до Кронштадта. В 1824 г.
119	9 сверху	поселение».	поселение».[2]

Ф.П.

О-578

ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ПЯТАЯ

ф.П. 1116605

Омская областная
БИБЛИОТЕКА
им. А. С. ПУШКИНА

ОГИЗ

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОМСК 1945

2093.11

МИХ. МАКСИМОВ

ПОБЕДА

Ему не спать. Ему перроны мерять,
забыв про котелок для кипятка,
выспрашивать, и ждать, и сердцем верить,
что вот сейчас ударят два звонка,

что рощи, пашни, чащи, виадуки
на три минуты раньше промелькнут,
как будто могут все года разлуки
короче стать от этих трех минут!..

И вмиг, когда, умывшись над ушатом,
возьмет он полотенце у жены —
он снова перестанет быть солдатом,
как будто сразу смыл следы войны.

И, верно, будет невдомек соседу,
когда по-свойски сдвинет чарки с ним,
что этот человек — и есть Победа,
прошедшая через огонь и дым!

МОСКВА

1

И вот мы свиделись опять
с тобой, моя Москва!
И как об этом рассказать,
не растеряв слова:

здесь улица, а не река,
дома, а не костры.
А взгляд и слух лесовика
попрежнему остры,

и вспыхнет спичка вдалеке —
я чувствую ожог,
и невесома кладь в руке,
и каждый шаг — прыжок!
И если капля упадет,
то звучно, как набат,
а над Москва-рекой закат
багров и языкат.

Постой, когда бывает так —
такой трезвон в крови?
В пылу погонь?
В огне атак?
Нет — в радости любви!

Той самой первой, если рос
ты с нею с юных лет,
но оценил, когда пронес
через десятки бед!...

2

Радист в отряде жил, как бог
(он, шутка ли, имел и плащ
и пару керзовых сапог),
но бережливым был, хоть плачь:

ведь хлопцам только бы едва
услышать: — говорит Москва! —
и все — лови хоть полный день
штабной морзянки дребедень!

Так нет же, заучил одно:
— Нельзя, кончается анод,
накал — с натяжкой на два дня,
и — не молитесь на меня!...

Но кто же не молиться мог,
когда и вправду был он — бог,
когда в хвою концом одним
антена пряталась над ним
и нам казалось — у него
зажата в пальцах нить,
что из хвои, через фронты,
через горящие мосты,
в Москву уходит, чтоб с Москвой
отряд соединить!

А ведь на свете лишь она
была у нас
одна!

Она и матерью была
и той любовью, что ждала,
той первою, с которой рос,
берег ее, как свет,
но оценил, когда пронес
через десятки бед...

3

А их испили мы сполна
из твоего ковша, война!
Идешь и видишь злобный свет
пожаров и ракет,

уснешь, и чавкает в ушах
вчерашний марш —
болотный шаг,
проснешься —
пляшет у костров
бездомный свист ветров...

И ярость била напролом,
была утехой — месть!
Кто знал, рожденный Октябрем,
что жизнь такая есть?!

Ищейкой у жандармов наст:
гляди — не наследи!
Стучит топор — гляди предася!
Зажег костер — гляди!
С опушки, горечь затая,
разглядывай поля:
лежит вот здесь твоя земля
и вместе — не твоя!

...И ту, иную, что за мглой
легла зовущим сном,
мы нарекли Большой Землей
на языке лесном.

И от матросских этих слов
бросало кровь к вискам,
была в них горькая любовь —
по берегу тоска...

Кто ж не мечтал жену и мать
там, на Земле, обнять?
Но письма обронял раз в год
счастливцам самолет,
и кто же знал, как доживет
и как родных найдет,
кто знал, как ждет его жена,
и все ли мать жива?...

И лишь наверняка жила,
наверняка — ждала
там, на Большой Земле, она
для всех
одна —
Москва!

4

Радист всеведущ был, как бог,
и в тайне все, что знал, берег,
но если ключ пускал он вскачь,
и сам пускался вприпрыжку, —
то новость, как ее ни прячь,
гуляла между нас.
И слух шумел в бору и рос:

— сегодня
будет
сброс!..
И если наплывал в ночи
веселый треск У-2,
казалось, куст и тот кричит:
— Поднять костры — Москва!

И прилетев наискосок,
укутавшись травой,
лежал, как мумия, мешок
с округлой головой.

Мы в нем прощупывали тол,
табак, приклад и ствол,
и где бы ни был сделан тол,
откуда б автомат ни шел,
и где б табак ни цвел, —

один из нас, неся пакет
взрывчатки за костры,
смеялся: — Из Москвы привет
пришел для немчуры!

Другой поглаживал рукой
замасленный приклад:
— Смотри-ка, год на нем какой,
Москва прислала, брат!

А третий, загрустив чуток,
всех обносил бычком:
— А ну-ка, затянись, браток
московским табачком!..

...А после приходил приказ
шифровкой боевой,
и ночью батька строил нас:
— Приказано
Москвой!..

5

И вот мы свиделись опять
с тобой, моя Москва,
и как об этом рассказать,
не растеряв слова!

Москва!
Тебя и тот поймет,
кто не бродил среди болот,
и кто не слушал у костров
бездомный свист ветров!...

Но тем, кто месиво трясин
дни напролет месил, —
чудесным кажется, как сон,
умытый твой гудрон!

Но те поймут наверняка,
кто слышал вой ветров, —
какая нежная рука
у ветерка метро!...

. . . . . .

Так вспомни лагерный дымок,
лесной советский островок
и просинь неба меж хвои
и в ней
антены
нить,
чтоб все, за что ходил в бои
постичь
и оценить.

Какое счастье просто в том,
чтоб так, дыша открытым ртом
ворваться в уличный прибой
и растерять слова.

Какое небо над тобой!

Как
говорит
Москва!

ВИКТОР УТКОВ

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ*

1

Аня лежала в кустах, рядом с дорогой, крепко сжимая в руках автомат, затая дыхание... А танки шли и шли... Казалось, нет конца им. Они шли, как на конвейере, повторяясь в каждом последующем: одинаково грузные, низколобые, выкрашенные в черный мрачный цвет, с белыми крестами на башнях, с устремленными вперед жерлами пушек. Гусконо блестели отполированные гусеницы, ревели однообразно моторы, туча пыли висела над дорогой, над белокорыми березками, над трепетными осинами, и синее августовское небо было аспидным, мертвым, и солнце стояло в нем не двигаясь, тоже мертвое, багрово-красное.

В люках сидели люди. Аня видела их потные, грязные лица, похожие одно на другое, как и машины. Танкисты горланили песни, махали руками в такт словам, но голосов не было слышно в гуле моторов, и вся эта картина: беззвучные, раскрытые рты, немая угловатая жестикуляция, черные, вздрагивающие от работы моторов тела танков, безудержно попирающие родную землю — казалась Ане дурным сном. Она лежала, мучаясь стыдом и отчаянием...

Пятьдесят девятый был последним. Аня поняла это, когда увидела в облаке пыли его грузный зад. Шум машин затихал. Мирные звуки снова заполнили лес — звон пчел, пиликанье кузнечиков. Пыль медленно оседала на траву, на листья деревьев и кустов. Небо сияло. Истерзанная танками дорога настораживала и предостерегала.

Аня поднялась. Во рту было сухо и пыльно. Как во сне, пошла она вдоль дороги. Лицо ее было бледным, ясные обычно глаза были затуманены, и вся ее крепкая аккуратная фигура обмякла, распустилась, гимнастерка горбом тор-

---

* Главы из повести

чала на спине, светлые волосы в беспорядке выбились из-под пилотки. Аня шла, волоча ноги, прихрамывая, поднимая пыль, и не старалась укрыться в кустах... Все равно — и она виновата, и она тоже оставляла родную землю...

В узком месте дороги, где густой лес с обеих сторон подходил к самым кюветам, Аня остановилась. Зачем-то нужно было здесь остановиться, но Аня не думала об этом и остановилась бессознательно. Горечь отчаяния и стыд переполнили ее. Она прислонилась к березке, чьи тонкие, покрытые пылью ветви низко свисали над дорогой, и смотрела на лес, на небо, высокое и ясное, и все это сейчас казалось ей навсегда утраченным. По лицу ее текли слезы, оставляя на пыльных щеках две дорожки. Долго стояла она так неподвижно, словно прощаясь со светом, с солнцем, с березками, милыми сердцу. И только когда гул моторов затих вдали и тишина в лесу стала полной, она вспомнила: Харитон ждет ее. Он не может ходить быстро, надо найти удобное место для перехода через дорогу. Воспоминание о Харитоне вернуло ей энергию. Она не одна, Харитон нуждается в ее помощи. Аня вздохнула, провела ладонью по глазам, словно стирая с них пелену и, заметив подходящее место на дороге, пошла в глубь леса.

Харитон спал в тени густого орешника. Рыжеватые брови, обиженно приподнятые вверх, пухлые запекшиеся губы придавали его лицу выражение больного ребенка. На тонкой белой шее открыто и беспомощно билась голубая жилка. Аня села рядом, отогнала мух, роившихся над лицом Харитона, и поправила сумку под его головой. Харитон открыл глаза.

— А я задремал немного... — сказал он виновато.

— Вот и хорошо. Как нога? — спросила Аня, вытирая заплаканное лицо.

— Лучше. Почему ты плакала?

— Я не плакала... Отдыхай, дружок, после заката пойдем дальше.

Харитон с тревогой посмотрел на Аню.

— Мне не дойти.

— Перестань! — строго, также, как говорила она когда-то расшалившимся ребятам на практических уроках, сказала Аня. — Дойдешь! Вместе дойдем. Отдыхай!

Харитон покорно закрыл глаза. Аня обломила ветку орешника и стала отгонять от Харитона мух — их в это лето войны развелось великое множество. Она печально смотрела на детское лицо Харитона. На его щеках горел лихорадочный румянец. «К вечеру опять поднимется температу-

ра!» — с отчаянием подумала Аня, и будущее, мрачное и безвыходное, встало перед ней. Что ждет их в этом лесу? «Мне не дойти!» — вспомнила она. Куда? Куда итти из этого леса? Может лучше не итти никуда, не мучиться самой и не мучить Харитона?..

В глубине леса было тихо-тихо, только откуда-то издалека глухо доносился гул артиллерии. Он словно падал сверху в просветы между вершинами деревьев и низкой рокочущей волной растекался у подножья стволов. Ане вспоминались прошедшие дни и ночи, разгром батальона, скитанья по лесу, шествия черных низколобых танков, наглые лица победителей... И вот, все кончилось. Мир замкнулся в этой тихой поляне. Что за ее зеленым кольцом? Спасение или гибель?

Влажными от слез глазами смотрела Аня на зеленую чащу, словно в ней ожидая найти ответ. Ветка орешника валялась рядом, и мухи облепили Харитона. Он морщился и мотал головой. Аня не видела этого, ей казалось, что все теперь потеряно, она чувствовала себя совсем слабой, ничтожной, затерявшейся, как козявочка в густой траве, и только где-то в глубине ее сердца чуть теплилась вера в то, что не все кончилось...

2

Сильнее всего хотелось спать. Будь другое время, другая обстановка, люди давно бы свалились с ног. Но сейчас они черпали в себе силы из каких-то, самим им неведомых, источников. Это была последняя грань напряжения, переход за которую порвал бы всякую связь с окружающим миром. Поэтому ротный был рад, когда получил приказ занять на краю лесного оврага оборону. Это означало — батальон оторвался от противника и люди немного отдохнут. Но сначала надо было организовать оборону.

Командир роты лейтенант Тихонов — высокий сухощавый ленинградец, с усталым сердитым лицом — ходил по переднему краю вместе с Анной Бронниковой, санинструктором. Бойцы устраивали завалы, рыли окопы, маскировали наспех возведенные укрепления. Они спали на ходу, с винтовкой, с топором, с лопатой в руке, приткнувшись к дереву, присев на пень. Аня склонялась над уснувшим, давала ему нюхать нашатырный спирт, растирала уши, виски. Уснувший просыпался. Она говорила ему: «Ну, еще немного, дружок, нажми чуток!» Боец узнавал Аню и ругательство замирало на его губах. Он тряс головой, стараясь прогнать

сон, и молча, со злостью брался за лопату. Аня и сама была как в тумане, ей тоже страшно хотелось спать, но спать было нельзя — ротный же не спал!.. Она находила глазами его высокую фигуру и шла к нему. Рядом с ним было легче и усталость мучила меньше. В ротном была сила, к которой приобщалась за эти трудные месяцы Аня, сила, которая соединяла разных людей в одно целое, заставляла их, до предела утомленных, бороться и верить в необходимость борьбы, когда, казалось, все уже потеряно. Силу эту Аня чувствовала и в себе и в бойцах, но в ротном ее было больше, она была у него совершеннее, организованнее, не затушевывалась ничем мимолетным, случайным. Названий этой силе было много — любовь к родине, патриотизм, воинская дисциплина, ненависть к врагу, но ни одно из них не выражало ее сути полностью. Ее нельзя было определить одним словом, она была многообразна, многолика, в каждом она выражалась по-своему—у одних в злом упрямстве, у других в спокойствии перед опасностью, у третьих в хладнокровии в бою, у четвертых в шутке, которая всегда приходилась кстати, ободряя унывших, пристыживая трусов. Но у ротного, казалось Ане, было все сразу — и храбрость, и упрямство, и хладнокровие, и необходимая шутка, — и Аня тянулась к нему, росла и крепла рядом с ним, как молодое деревце под защитой зрелого дуба.

Вечером сооружение обороны было закончено. Впереди уже слышалась редкая перестрелка охранения с немецкой разведкой. Аня вконец измучилась, борясь со сном своим и людей. Ротный нашел ее в просторной ячейке пулеметчика. Пустой флакон из-под нашатырного спирта был зажат в ее кулаке. Аня спала.

Рыжий пулеметчик, круглоголовый, круглоплечий, со светлыми голубыми глазами, которые казались очень яркими от огненной щетины на его небритых щеках, кивнул головой на спящую Аню:

— Истомилась девка! Убрать бы ее отсюда. Опасно здесь будет.

Ротный молча взял Аню на руки. Она совсем по-детски зачмокала губами и прижалась щекой к запыленной гимнастерке ротного. Лицо лейтенанта стало мягче, озабоченная складка на лбу разгладилась, из глаз исчезла напряженная злость. Лицо стало простым, усталым и очень добрым.

Пулеметчик подал ротному пилотку, упавшую с головы Ани.

— Ишь ты, — сказал он. Его грубый голос звучал мягко, по-домашнему. — Совсем, ведь, девочка...

— У меня, Никитин, такая же осталась... — негромко сказал лейтенант.

Никитин тоже хотел что-то сказать, вероятно о своих детях, и уже открыл рот, как в воздухе с воем и скрежетом пронеслась немецкая мина. Ротный и пулеметчик невольно пригнулись. Глухой разрыв раздался далеко позади, в чаще леса. Воздушная волна слабо ударила по ногам.

— Началось! — деловито сказал Никитин и толкнул второго номера, который спал рядом с пулеметом. — Вставай, Лущиков!

Лущиков сел. Он весь был еще во власти сладкого сна, и, поглядев вокруг невидящими глазами, пробормотал: «Я сейчас»... — и снова плюхнулся на землю.

— Ну, ты! — сердито крикнул Никитин и ударил Лущикова кулаком в бок. Лущиков вскочил, моргая глазами. Отерев ладонью мокрый рот, он блаженно улыбнулся, тряхнул коротко стриженной головой, прогоняя сон, и сказал Никитину:

— Эх, и спал же я сладко!

— Смотри, Никитин. Вон на ту просеку особенно смотри! — строго наказал ротный и поспешил унести Аню в тылы. Строгость своему голосу он придал не потому, что не надеялся на расчет, а лишь за тем, чтобы перед боем Никитин почувствовал в нем командира.

— Будьте спокойны! — живо откликнулся Лущиков. Он уже суетился около коробок с лентами.

Никитин обернулся.

— Аню-то сохрани, Петр Ильич, пусть отдохнет немного... — Ротный увидел его лицо. Оно было озабоченным и сердитым, как у человека, приступающего к серьезному, но неприятному занятию. Из-под надвинутой на крутой лоб пилотки холодным злым пламенем горели светлоголубые глаза. По тому, что Никитин назвал его не по званию и не по фамилии, а по имени, ротный понял: через Аню еще одна крепкая связь образовалась между ними, и он, прижав к груди спящую девушку, быстро пошел к оврагу, уверенный в Никитине, как в самом себе.

Ротный уложил Аню на пулеметную повозку, укрытую в яме, и побежал обратно. Мины ухали чаще и ближе. Близок был бой — за обстрелом немцы пойдут в атаку. На пути ротный предупредил повозочного, чтобы он через полчаса разбудил Аню — она будет нужна. Усталость ротного исчезла, он почувствовал в себе необходимую слаженность мысли

и тела, которая позволяла ему принимать в бою быстрые и правильные решения. За это-то и любили его бойцы. И сейчас, видя его высокую сухую фигуру, деловито перебегающую между отвалами, они становились спокойнее сами и говорили бойцам, недавно пришедшим в роту: «Этот не растеряется! Ух, и зол же он в бою!»...

3

Аня проснулась ночью от смутного сознания своей вины и незавершенности дела. Открыв глаза, она вспомнила, что не выдержала и заснула во время работы на обороне. От стыда кровь горячей волной прошла по телу, и Аня, испуганно озираясь, вскочила на ноги. Шел бой. Стрекотали автоматы, настойчиво татакали «максимы», сухо трещали винтовочные выстрелы, слышались стоны, крики. Вокруг никого не было, повозочные все ушли на передовую. Аня схватила свою сумку и, не раздумывая, шагнула вперед, к выстрелам. Она запнулась о край повозки и упала на землю, больно зашибив локоть и ногу.

Сквозь шум боя послышалась команда ротного. Аня выбралась из ямы и побежала на голос. Черные фигуры пересекли ей дорогу. От них летели в темноту огневые вспышки. Сердце Ани захолонуло, — «Немцы!» — и она молча рванулась вперед, к ротному. Что-то мягкое попало ей под ноги, она споткнулась и с размаха ударилась виском о пень. Теряя сознание, она слышала чей-то истерический выкрик: «Окружили!», матерную брань ротного и пистолетный выстрел.

Когда Аня очнулась, выстрелы доносились издалека. Рядом, тяжело ступая по земле, проходили люди, слышалась чужая речь. Один прошел совсем близко, задев ногой ветку, которая больно хлестнула Аню по лицу. Эта маленькая боль совсем вернула ей сознание. Когда люди отошли и голоса их стали невнятны, Аня пошла в сторону выстрелов. На пути ей попадались тела, еще теплые, в крови. Аня ощупывала каждое, но все были безжизненны. Бой был жестокий. Аню мучил стыд: как она могла проспать?... Отовсюду приходили чужие звуки — незнакомая речь команды, тяжелая поступь. Ночной лес начинал жить какой-то страшной, похожей на кошмар, жизнью.

Ныли колено и локоть, болела голова. Порой Ане казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Стиснув зубы, она упорно продвигалась вперед, к выстрелам. Долг и стыд двигали ею — там впереди дрался с врагами ротный и ее ме-

сто — тоже там. А она проспала... Кто-нибудь ранен, необходимо помочь, все заняты боем, а ее нет...

Аня подобрала на пути немецкий автомат и, держа его наготове, то перебегая, то ползком, спотыкаясь и падая, пробиралась по лесу, ставшему вдруг враждебным, пока не почувствовала, что больше ни на сантиметр не сможет двинуться вперед. Она уткнулась лицом в землю, пахнущую прелыми листьями, хвоей и грибами, и заплакала. Слезы опустошили ее. У Ани наступило то опасное для всякой борьбы состояние, когда человек не видит больше выхода из создавшегося положения. Его поступки тогда определяются не ближайшими внешними обстоятельствами, а тем общим, что закладывалось в нем на протяжении всей его сознательной жизни семьей, обществом, работой. В такую минуту происходит как бы предельное обнажение всех истинных его качеств, недостатков, его силы, целеустремленности, веры в правоту своего дела. Трус, неустойчивый, маловер теряет голову, он оправдывает предательство товарищей, если они рядом, себя, если он один. Ценность его собственного существования становится для него единственной и ничем не восполнимой... Аня не была ни трусом, ни маловером. Ей было ясно: живой она не останется, а если так, то надо умереть с достоинством, в борьбе. Иного выхода она не видела. Она не подумала об этом словами, это было ее ощущением, ее реакцией на всю окружающую сейчас обстановку, своего рода условным рефлексом, выработанным в Ане средой, в которой она росла и воспитывалась, комсомолом, любимыми книгами и многим другим, подчас на первый взгляд маловажным, обыденным, но что все вместе взятое составляет нашу современность... И когда снова послышались тяжелые шаги немецких солдат, она очень спокойно подтянула к себе автомат и приготовилась к последней встрече с врагом. С благодарностью подумала о том, что ротный научил обращаться с немецким оружием. Немцы шли по лесу плотной цепью, обшаривая каждый куст. Аня слышала их голоса, ругань, кашель. Они подходили все ближе и ближе. Один из них, шедший немного впереди остальных, дышал тяжело и шумно. «Толстый, наверное», — подумала Аня и нажала на спусковой крючок. Длинная очередь прорезала ночной лес.

Все за тем произошло так быстро и неожиданно, что Аня потом никак не могла припомнить последовательность событий. Лес, казалось, мгновенно наполнился криками, выстрелами, топотом, треском. Где-то начали рваться гранаты. Лес переполнился ужасом—он вопил, орал, стонал... И в

центре этой сумятицы лежала Аня, с пустым диском автомата. сжавшись в комочек, ожидая конца. Паника, поднятая ею, ширилась подобно кругам от камня, брошенного в воду. Стреляли уже где-то далеко, по всему лесу разносились команды, слышались мольбы, стоны... Аня опомнилась, надежда пробудилась в ней. Схватив автомат, как дубинку за ствол, она вскочила на ноги и побежала вперед, туда, где по ее расчету должны были сражаться остатки роты. Не сделав и пяти шагов, она рухнула в какую-то черную яму.

4

Это был овраг, около которого рота занимала оборону. Ане казалось, что она падала очень долго. Она катилась вниз, зажав голову руками. Упругие ветви кустарника, росшего на дне оврага, смягчили удар. Аня поднялась полуоглушенная, и, плохо еще соображая, побежала через кусты, по оврагу. Ветви хлестали ее по телу, по лицу, по рукам, но она не чувствовала боли. Кусты кончились, неширокое песчаное ложе ручья пролегло по дну оврага. Аня припала к ручью и жадно, большими глотками стала пить холодную воду. Две пули, одна за другой, с коротким всплеском захлебнулись в ручье. На мгновение с мучительной живостью Аня представила, как пули эти могли впиться в ее тело и ужас охватил ее. Все ее молодое существо запротестовало. Ей страстно захотелось остаться живой. Не помня себя, она сорвалась с места и побежала вдоль ручья. Сбоку встала темная стена густой ольховой заросли. Аня нырнула в нее и остановилась, сжимая грудь руками. Было тихо. Журчал ручей, да громко и тупо билось сердце. Наверху все еще стреляли, но шум удалялся от оврага. Аня вздохнула свободнее и пробралась в самую гущу заросли. Здесь было совсем темно, тихо, сыро. Напряжение проходило. Мускулы обмякли, захотелось спать. Аня нагнулась, нащупала рукой сухое место и легла, поджав к подбородку ноги.

Спала она долго, весь остаток ночи и большую часть дня. Проснувшись, не сразу поняла, где она и что с ней. Ночные события были похожи на кошмар. Тело болело, на руках были ссадины, обмундирование порвано, в пятнах крови...

Солнце уже клонилось к закату. На дне оврага повечернему синели тени и в сыром воздухе звенели комары. Воспоминания прошедшей ночи нахлынули на Аню. И от них, и от того, что они так не сочетались с мирной тишиной летнего вечера, ее охватило тревожное, нервное состояние. Оно

напоминало немного ту нервную лихорадку, которая всегда почти была с Аней перед экзаменами в институте. И боязнь, и неуверенность в себе, и желание товарищеской поддержки, и нетерпение ускорить события, привести их к концу — все смешалось вместе, обезволивало, лихорадило. Аня знала, что лучшее лекарство в такие минуты — действие. Пересилив себя, она вышла из ольховника.

Овраг совсем не был так глубок, как показалось Ане ночью. Верхний край его был обрывист и под тонким слоем серого подзола светлел слой желтого песка, а за ним шел некрутой склон, поросший травой и кустарником. По дну оврага тек небольшой ручей. Было пустынно.

Аня подошла к ручью, чтобы умыться, и в его текучей воде увидела чужое незнакомое лицо. Она даже испугалась — до того неузнаваемо было это отражение, и вынула из кармана гимнастерки зеркало. На Аню глянуло много раз повторенное, все в царапинах и синяках лицо. Зеркало было разбито. «К несчастью» — подумала Аня и усмехнулась. Она сняла санитарную сумку и осторожно стала обмывать лицо. Холодная вода успокоила боль, освежила. Аня расчесала волосы гребенкой, чудом уцелевшей в спутанных космах, замыла кровяные пятна на обмундировании и села в раздумьи на берегу.

Что же делать? Впервые в жизни она осталась одна, без товарищей, совсем, совсем одна. На мгновение ей стало страшно — кругом могли быть враги. Она испуганно оглядывалась по сторонам. Сумерки уже скрадывали очертания предметов. Стояла спокойная вечерняя тишина. Над оврагом величаво багровело закатное небо, под его высоким чистым куполом Аня почувствовала себя совсем ничтожной и очень, очень одинокой... Где ее друзья? Где ротный? Может быть он также скрывается где-нибудь в лесу, или хуже — ранен, а помочь некому (что ротный мог быть убит в ночном бою, Аня и не подумала). Ротный был сейчас для нее самым близким человеком, как бы символом всего дорогого, что никак нельзя потерять. Он-то, наверное, ничего не боится и знает твердо, что ему делать. Если б все были такими, как он, не пришлось бы ей сидеть одной в лесном овраге, да и немцы никогда бы не дошли до этого леса. Аня покраснела — она то сама какая? Проспать бой!

Пригорюнившись, не замечая подступающей ночи, сидела Аня на берегу ручья. В сумерках лицо ее было юно и свежо, даже царапины и синяки не могли обезобразить его. Светлые волосы мягко пушились над невысоким чистым лбом, рукой

1116605

она подперла щеку, ясные глаза потемнели от вечерних теней и глубокой печали.

С той стороны, откуда шла ночь, доносилось какое-то глухое грозное рокотание, словно где-то далеко перекатывали громадные железные бочки. Звук этот не сразу дошел до сознания задумавшейся Ани, и когда она услышала его, поняла: «Это же артогонь!». И ей стало ясно, как поступил бы ротный и как должна поступить она. Аня решительно встала, подтянула туже ремень гимнастерки и посмотрела на восток. Ночь шла оттуда и небо там было мрачно-серого неживого цвета...

Ночью она выбралась из оврага и пошла по темному настороженному лесу на восток. Итти было трудно. Каждый шаг больно отдавался в избитом теле. Ночной лес для Ани, горожанки, был полон фантастических тревожных очертаний, силуэтов, контуров, звуков, шорохов. Не раз она замирала, прижавшись к стволу или спрятавшись за куст, ожидая встречи с немцами. Тревога оказывалась ложной, и Аня, взяв себя в руки, шла дальше, словно компасом руководствуясь отдаленным рокотом боя. Ей повезло: выйдя из оврага, она сразу же натолкнулась на место недавней схватки и нашла заряженный немецкий автомат. С оружием она чувствовала себя увереннее.

В эту ночь, которая казалась Ане очень длинной и томительной, девушка много передумала и оценила заново. Горькое чувство потери не покидало ее. Война шаг за шагом отнимала у нее все, чем она жила, — сначала институт, друзей, дом, потом боевых товарищей, потом, в страшном пути отступления, города, села, деревни, леса, реки, названий которых она раньше и не слышала даже, но которые с потерей их становились так же дороги, как и родные, сибирские. О чем бы ни подумала Аня, что бы ни вспомнила, мысль ее, как магнит к железу, неизменно возвращалась к потерям. Одиночество мучило ее больше, чем боязнь встречи с врагом. Но, странно, одновременно с этим в Ане рождалось какое-то новое, неясное еще для нее ощущение цельности, единства всего, что когда-то окружало ее. Несчастья как бы просветили прошлое. Повседневное оказывалось значительным, случайное — закономерным, обычное — ярким. Мелочи, мешающие видеть, исчезли, и порой Аня чувствовала себя так, словно она поднялась высоко-высоко и разом смогла увидеть все, что раньше виделось разрозненным, по отдель-

ности. Что-то единое, оказавшееся самым главным, как бы цементом всех ее чувств и поступков, открылось Ане в эту ночь.

К рассвету она вышла на проселочную дорогу, узкой извилистой лентой идущей через густой лес. На дороге чернело несколько обгорелых исковерканных составов автомашин. Земля была усеяна разбитыми ящиками, пачками галет, консервами, припудрена мукой из разорванных мешков. Со стесненным сердцем бродила Аня среди разбитых машин, надеясь найти кого-нибудь. Но даже убитых не было. Лишь в одном месте она увидела темные кровяные пятна на земле. Убитые и раненые были увезены на уцелевших машинах....

На радиаторе пятитонки с разнесенным в щепы кузовом Аня различила заводскую марку и одно воспоминание поразило ее. Несколько лет назад, в Омске, появился первый многоместный автобус. Аня увидела его, когда он, голубой, огромный, сверкая лаком и никелем, бесшумно катился по мосту через реку Омь. Прохожие останавливались, смотря вслед красавице-машине. Аня шла по мосту с школьными подругами. Они тоже смотрели во все глаза на голубой автобус и черноглазая Нина сказала, что это наверное американский... Аню почему-то страшно задело это замечание. Она побежала наперерез автобусу и увидела на радиаторе две русские буквы «ЯГ». Горячее чувство гордости и торжества нахлынуло тогда на Аню, она закричала подругам: «Наш! Наш!»—и Нина была посрамлена... Эти же буквы стояли и на разбитой пятитонке... Крупные слезы катились у Ани из глаз, сердце ее тоскливо сжималось, словно эта разбитая машина, подобно которой она видела уже сотни, была символом рокового опустошения, произведенного войной в жизни Ани...

Так со слезами на глазах и пошла Аня прочь, в лес. Пора было находить дневное убежище. Быстро светало. Пройдя немного, она оглянулась. Все было залито призрачным, без теней, светом раннего утра. Аня стояла, опустив руки, печально смотря на место катастрофы, и в этот-то тихий утренний час она всем своим существом ощутила неразрывность своих связей с родиной. Потеряв почти все, она нашла самое дорогое, самое главное. Это было то, что связывало воедино ее самые разнородные поступки, действия, мысли, то, о чем так много говорили и писали последнее время, но чего она еще не чувствовала ясно сама, а только принимала как нечто абсолютное, само собой разумеющееся. Это было глубокое, искреннее и ничем не подменяемое чувство родины. Она поняла, что везде, в каждой мелочи, в

каждой повседневности есть оно, и что надо жить и бороться, чтобы вернуть себе и людям, отнятое силой. Ей стало легче, мучительное чувство опустошенности исчезло, и Аня, попрощавшись взглядом с кусочком истерзанной русской земли, пошла глубже в лес.

6

На день Аня укрылась в старой дегтярной яме. Сон ее был неровным, прерывистым, она часто просыпалась, хваталась за автомат, снова засыпала, мучимая кошмарами, и когда, наконец, истомленная заснула крепко, без сновидений, очередь из автомата и окрик «Хенде хох!» разбудили ее.

Стреляли рядом в лесу. Снова прострочил автомат. Аня услышала, как пули дробно ударились в насыпь ямы. Кто-то совсем близко крикнул от боли. Следом за этим раздался взрыв гранаты и все стихло.

Аня прижалась к задымленному устою. Что произошло в лесу? Может быть нужна ее помощь? Аня схватила автомат и сумку и поползла наружу. Рядом с ямой кто-то стонал. Аня на секунду остановилась: «Вдруг немец?... Если немец — застрелю!» — решила она. Стон повторился и за ним Аня услышала то, что сразу устранило ее сомнения — стонавший выругался крепко, сочно, упомянув недобрым русским словом родителей Гитлера. Аня выскочила из ямы.

Она увидела небольшую поляну, покрытую травой и цветами. У противоположного края поляны стволы березок были избиты осколками и задымлены. Вокруг, оскверняя зелень, валялись обрывки грязносерых тряпок. Под березками лежали двое убитых немцев. У ямы — Аня сразу и не заметила его — сидел спиной к насыпи худенький красноармеец, зажимая руками окровавленную ногу.

— Товарищ! — крикнула Аня, — товарищ! — слово это было сладостным, как находка дорогой потери. Красноармеец повернулся к ней. Аня увидела молодое веснущатое лицо, искаженное болью и удивлением. Аня подбежала к красноармейцу, подхватив его подмышки, помогла ему перебраться в яму.

Рана была не опасной. Пуля пронизала икру, не задев кость. Аня быстро перевязала ногу. Руки ее дрожали от радости, что наконец-то она не одна.

Красноармеец — он был очень молод, — оправившись от удивления, говорил безумолку. Его зовут Харитон Курилов, ему семнадцать лет, он из Сасова, что в Рязанской области, в армию пошел добровольцем. Он тоже попал в окру-

жение, отбился от своей части, бродил по лесу, и на этой поляне наткнулся на немцев. Их было двое. Они его из автомата, а он их гранатой!

— Ловко ведь! А? — спрашивал он, блестя глазами, в которых радость мешалась с болью. — Гранаты — первое дело в ближнем бою! Это карманная артиллерия!

— Хорошо! Хорошо! — чуть не плача от радости говорила ему Аня. Она чувствовала себя счастливой. И она, перебивая Харитона, который тоже был рад тому, что его одиночество кончилось, рассказывала ему о себе, о ротном, о своих скитаниях... Если б посмотреть на них со стороны, их можно было бы принять за двух юных приятелей, встретившихся после разлуки. До того счастливо и молодо сияли их лица и радостно тороплив был их разговор.

— А вдруг нас немцы слышат? — опомнился Харитон, когда схлынуло первое возбуждение.

— Все равно не поймут! — не думая, счастливо улыбаясь, ответила Аня.

Харитон озабоченно нахмурился, веснущатое лицо его сморщилось и стало забавно важным.

— Этих двух могут разыскивать, — сказал он. — Давай лучше уйдем отсюда.

— А ты можешь итти? — спросила Аня.

Харитон встал и прихрамывая прошелся по яме.

— Могу... Подумаешь, царапина! — небрежно сказал он, но оттопыренные пухлые губы его кривились от боли.

— Тогда пойдем, — сказала Аня, и они выбрались из ямы. Пройдя немного по лесу, они укрылись в кустах на берегу небольшого лесного озера. Здесь пролежали до темноты, переговариваясь шопотом, улыбаясь друг другу от неожиданного счастья. Вечером пошли дальше на восток. Харитон повылял, опираясь на палку и Аню. Аня поддерживала его, тоже прихрамывая — ныло ушибленное колено.

Они брели так всю ночь, ободряя друг друга, и к утру вышли к большой дороге.

7

Харитон проспал до вечера. В сумерках Аня сделала ему перевязку. Рана выглядела плохо, ночь, проведенная в движении, дала себя знать: края раны припухли и покраснели. Харитона лихорадило.

— Ну, что? — спросил он с тем торопливым нетерпением в голосе, которое всегда характерно для лихорадящих.

— В порядке... Скоро заживет, — ответила Аня и отвернулась, пряча свое беспокойство от Харитона.

— Нет, ты правду скажи! — недоверчиво, совсем по-детски спросил Харитон.

— Я правду и говорю, — сказала Аня как можно спокойнее, — конечно заживет... Давай поужинаем и в путь.

Сумерки коротки в лесу. Между вершинами еще светлело небо, а внизу уже по-ночному сгустился мрак, поглощая очертания подлеска.

Ужинали молча. Харитон почти ничего не ел и снова лег, жалуясь на головную боль. Аня задумалась, ожидая темноты. Что ждет их ночью? Быть может ночь эта будет последней?... В этой мысли не было страха за свою жизнь. Аню мучило другое — горькое чувство обиды. В сотый раз она задавала себе вопрос: как могло случиться, что лес этот, древний русский лес, оказался полон врагами? Она никогда не была в этом лесу раньше, но сейчас он стал ей так же дорог, как и березовые околки Прииртышья. И здесь — родной дом. Она только начала жить в родном доме, только начала познавать его и радоваться его богатству и красоте, как в дом ворвался дикий свирепый враг, захватил несколько комнат и хочет забрать весь дом, перевернуть его, изуродовать... А она уходит из одной комнаты в другую, уступая дорогу этому зверю. Сколько же можно уступать? А потом что? Потом оказаться бездомной? Почему тот овраг, у которого она потеряла своих, не был последней границей отхода? Не раз она и до этого думала, надеялась, как надеялись вместе с ней и другие (и на фронте и в тылу), что стоят они на последнем рубеже, что не будет больше этого унижающего движения назад. Но выходило по-старому — или держаться не было силы от тучи танков, или сосед отходил и, чтобы уберечь себя, приходилось отходить и самим, или передавали приказ: отступить и занять новый рубеж обороны. И опять шли на восток, злые, ожесточенные, полные горечи, сопровождаемые хищным клекотом немецких истребителей... Сколько раз Аня видела скупые солдатские слезы на лицах ее товарищей и сколько раз плакала сама от жгучего стыда на этом страдном пути, где от отчаяния спасала лишь упрямая вера в последний рубеж, на котором переломится проклятая немецкая сила...

Застонал Харитон. Аня вздрогнула и подняла голову. Смутно белело в темноте лицо Харитона и большие юношеские руки — одна на груди, вторая — откинута от тела на траву. Сколько таких сейчас в этом лесу, и там — позади?.. Тишина сгущалась вместе с темнотой. Уже горели на потем-

невшем небе звезды. Шум артбоя доносился чуть слышно, глухо. Он не манил сейчас Аню, как прежде. Никогда она не сможет быть счастливой и спокойной, пока в этом лесу хозяйничают немцы — стыд лишает ее покоя. Будь она где угодно — все равно мысли ее и чувства будут здесь... Лес стоял вокруг настороженный, притихший... Надо итти... Куда? Аня не знала сама. Но есть же в этом лесу не только враги. Встретилась же она с Харитоном... Может быть и ротный где-нибудь недалеко...

— Пойдем, дружок, — разбудила она Харитона и помогла ему подняться на ноги. Он доверчиво обнял Аню за талию. Сквозь гимнастерску она почувствовала, какие у него горячие руки. Дышал он жарко, часто. Он был сейчас, как большое дитя. Аня бережно повела его по темному лесу, не замечая своей боли, думая лишь о том, чтобы Харитону было легче итти.

Лес начал редеть. Впереди, в разрывах темного кустарника показалась серая лента дороги. Она была пустынна. Далеко-далеко слышался ровный гул. Он как-то незаметно вошел в ночную тишину — Аня сначала не обратила на него внимания, думая, что это отзвук канонады, но гул этот усиливался и усиливался и, когда она подошла к дороге, он совсем заглушил шум далекого боя.

— Машина! — догадалась Аня.

Они остановились, притаив дыхание. Сомнений не могло быть — по дороге шли машины.

— Я их... — прошептал Харитон, хватаясь за гранату.

— И не думай! А вдруг наши! — торопливо сказала Аня, — ложись! — Они залегли в придорожных кустах.

Ровный низкий звук уже заполнил весь лес, спугнув ночную тишь.

— Немецкая! — прошептал Харитон, — наша по другому работает!

— Молчи! — приказала Аня.

Бледный желтоватый свет лег на дорогу, на кусты, на ветви деревьев. На повороте свет фар упал прямо на то место, где лежали Аня и Харитон и свет был среди ночи ярок и пронизывающ. На мгновение им показалось, что они обнаружены. Но в следующий миг лучи снова перескочили на дорогу. Аня и Харитон увидели черный силуэт тяжело груженной машины. Рокоча мотором, она прошла мимо.

Следом — вторая машина. Гул моторов начал удаляться.

— Эх ты! — сказал Харитон, — гранатой бы их.

Аня ничего не ответила. Ей и самой хотелось бы их гранатой. Но какой боец Харитон? Он и так еле на ногах держится.

Чистое звездное небо висело над дорогой, словно опрокинутая широкая река в берегах темного, заснувшего леса.

— Сначала я, — сказала Аня, — я быстрее тебя перебегу. Потом спокойненько и ты перейдешь.

Харитон кивнул головой. Аня видела в темноте его лицо — пылающее от лихорадки, напряженное.

— Нога сильно болит?

— Н-нет... Ноет только. Иди...

— Там отдохнешь в лесу, за дорогой, — и Аня вышла из кустов. В этот миг с той стороны, куда ушли машины, послышался глухой взрыв. Аня остановилась на мгновение, потом рванулась вперед и перебежала дорогу.

Тишины уже не было. Следом за взрывом началась перестрелка. Характерные очереди автоматов чередовались с редкими выстрелами из винтовок. Харитон вышел на дорогу, прислушался и вдруг заковылял в сторону выстрелов.

Аня догнала его и схватила за руку.

— Дурной ты. Куда?

— Там наши. Честное слово наши. Пусти! — вырываясь, говорил Харитон. Аня силой утащила его с дороги и, стоя с ним рядом в кустах, удерживая его, говорила:

— Ну, куда же ты, куда? Разве можно так?

Глаза Харитона блестели в темноте. Он весь горел в лихорадке и все время порывался освободиться от Ани. «Там наши. Пусти! Ну, пусти же!» — повторял он как в бреду. Аня молча боролась с ним, но возбуждение передалось и ей: может быть там ротный? И она уступила, подхватив крепче под руку Харитона, она побежала в сторону перестрелки так быстро, как мог Харитон. «Это ротный, это он! Больше некому!» — думала она.

9

Скрываясь в лесу около дороги, они спешили к месту взрыва. Вершины деревьев озарились багровым трепетным светом. Перестрелка шла все в том же темпе — очереди автоматов и редкие винтовочные выстрелы. На повороте дороги Аня увидела все.

Между двух рядов, освещенных пламенем деревьев, на середине дороги пылала немецкая машина. Она грузно осела

на разбитый перед. Вторая остановилась неподалеку, врезавшись радиатором в ствол огромного дуба. Из кабины горящей машины головой на исковерканную подножку свисал человек в темном комбинезоне. Руки его судорожно скребли дорожную пыль. Рядом с машиной лежали еще двое. Один из них был неподвижен, второй пытался уползти на руках в кювет, волоча перебитые ноги, но вдруг ткнулся лицом в пыль и замер.

За могучим отвалом дуба в придорожной канаве лежали немцы. Они часто, не жалея патронов, стреляли через дорогу.

Все это Аня увидела и оценила в одно мгновение. И как часто бывает в такие минуты, когда внимание и глаз обострены до предела и опережают мысль, ее память, словно фотопленка, сохранила увиденное, и уже в лесу, в стороне от дороги, картина эта полностью дошла до сознания Ани. Людей в кювете было шесть-семь. В лесу — два-три, не больше. Она и Харитон находятся на противоположной им стороне дороги. Решение созрело находу. Не теряя из виду дороги, Аня прошла по лесу в тыл к немцам.

— Ложись! — сказала она Харитону. — Сколько у тебя гранат?

— Две.

— Дай мне.

— А я?

— Ты подождешь здесь. Вот автомат тебе. — Харитон подал Ане одну гранату.

— Давай вторую.

— Не дам, — упрямо сказал Харитон, — я тоже с тобой.

Аня пристально взглянула на Харитона. Если б в лице его или в глазах была мольба, она настояла бы на своем. Но глаза Харитона смотрели решительно и упрямо. Он пересилил и боль и болезнь перед предстоящей схваткой. Ане было знакомо такое состояние... Вставив в гранату запал, она сделала знак рукой Харитону и поползла вперед.

Харитон полз за ней, стиснув зубы. Путь по лесу растревожил раненую ногу. Она ныла тупой, нестихающей болью. При каждом резком движении ноющая боль сменялась острой, нестерпимой, от которой бросало в жар; голову охватывало горячим туманом. Но Харитон упрямо полз вперед. Там были немцы...

Аня теснее прижималась к земле, когда над головой посвистывали пули, и потом оглядывалась назад, на Харитона. Его лицо было неразличимо, Аня лишь угадывала его широко открытые страдающие глаза и кивала ему ободряюще головой, мучаясь за него, словно его боль была ее болью; а

потом ползла дальше между стволов, по сухим листьям опавшей хвои, оползая пни и сушняк-валежник.

Пламя горящей машины высоко взметывалось вверх, черный дым уходил в небо, закрывая звезды. Становилось светло, как днем, даже еще светлее — днем никогда не бывает таких резких переходов от света к тени.

От дороги Аню отделяла теперь только мелкая лесная поросль, на которой широко раскинул ветви могучий дуб. Густая черная тень падала от него. Скрываясь в ней, метр за метром, Аня проползла до открытого места, откуда ясно были видны силуэты немцев за дубом и в канаве. Сзади слышалось прерывистое дыхание Харитона... Аня выдернула чеку, приподнялась на руке и бросила гранату.

Багрово-желтое пламя метнулось над дубом, мгновенно озарив все вокруг. Следом разорвалась граната Харитона... Длинная, чересчур длинная, вероятно выпущенная немцем в предсмертных судорогах, очередь из автомата прошила воздух и стало тихо. Аня перехватила автомат под руку и вскочила на ноги. Сквозь дым она увидела, что один из немцев, зажав руками лицо, шатаясь, выбежал на дорогу, но тут же упал, подсеченный пулей. Из леса выскочил человек с винтовкой наперевес. Аня чуть не столкнулась с ним у кювета. При свете огня на его пилотке блеснула звездочка. «Наш!» — радостно отметила Аня. Четверо из немцев были неподвижны, пятый лежал на дороге. Двое поднимались с земли, ошеломленные взрывом.

— Руки вверх! — крикнул человек с винтовкой и, подскочив к немцам, вышиб оружие из рук ударами приклада. Немцы показались Ане удивительно малорослыми рядом с ним. Он вытолкнул их на дорогу, на свет. Один из немцев был в офицерском мундире. Он тряс раненой головой, стряхивая кровь, и кровь каплями, блестя от пламени, усеивала погон и левую часть груди, как какие-то роковые знаки отличия. Незалитый кровью глаз был широко открыт, и Аня видела в нем растерянность и злобу. Рядом с офицером вытянулся второй немец. Он был пожилым, грузным. На обнаженной голове ежом торчали рыжие жесткие волосы, кровавые от отблесков горящей машины. Толстые ноги тряслись в штанах комбинезона.

10

Из леса вышел еще один человек с винтовкой. У него было сухое острое лицо с недобрыми черными глазами. Он пристально взглянул на Аню и, оценив ее, коротко сказал:

— С-спасибо. Одна?

— Нет... А где же Харитон? — хватилась Аня. Все произошло так стремительно, что она и не успела подумать о Харитоне. Девушка побежала к дубу. Харитон был неподвижен. После броска гранаты он потерял сознание.

— Сюда, сюда! — крикнула Аня, наклоняясь над Харитоном. Бинт с ноги был сорван, рана кровоточила.

— Иди, Шахов! — услышала она резкий голос остролицего. Шахов подбежал к Ане.

— Ранен?

— Да... нет... раньше... Потерял сознание. Перевязать надо.

— Быстрее, задерживаться нельзя.

Шахов вскинул винтовку на ремень, поднял Харитона и вынес его к свету. Только сейчас Аня поняла, почему немцы казались так малорослы рядом с ним. Шахов был очень велик ростом.

Поодаль его спутник что-то спрашивал по-немецки у пленных отрывисто, резко. Странно было Ане слышать звуки ненавистной речи от человека, на пилотке которого блестела пятиугольная звездочка. Это, словно, что-то отнимало от него. Немец-офицер, оправившись от испуга, отвечал односложно и высокомерно. В его лице, сейчас наглом, заносчивом, Аня увидела те же черты тупой презрительной жестокости, что и в лицах танкистов сегодня на дороге. Все это Аня отметила мельком, Шахов торопил ее.

Аня перебинтовала ногу Харитона. Товарищ Шахова, не спуская глаз с немцев, кивнул головой:

— Идите. Я д-догоню...

Шахов взял Харитона на руки.

— Забери, — хозяйски сказал он, указывая на немецкое оружие, разбросанное в пыли. Аня подобрала два автомата и пошла за Шаховым.

Свет пожара меркнул. Ночь плотно охватывала идущих. Позади раздались два пистолетных выстрела. Наглое лицо немецкого офицера, рыжая толстая голова второго на мгновение встали в памяти Ани и исчезли. Через минуту со стороны дороги донесся взрыв. Шахов приостановился. В лесу послышались легкие торопливые шаги. Между темных стволов показалась невысокая фигура спутника Шахова. Он подошел, весь обвешенный трофейным оружием и сухо сказал:

— П-пошли!

Они углубились в лес. Темнота поглотила их. Сзади чуть багровело небо от догорающих остатков взорванных машин.

11

Шахов шел по ночному лесу, как горожанин по городу. Аня с трудом поспевала за ним. Для нее лес был полон препятствий. Она то и дело спотыкалась, задевала за сучья, за ветки, с трудом пробиралась сквозь частый мелкий ельник на заболоченных местах. Теперь, когда она была не одна и Харитон находился в надежных руках, у нее наступила реакция. Она чувствовала себя очень усталой. Иной раз ей казалось, что больше она не сможет сделать ни шагу. Она готова уже была крикнуть Шахову, чтобы он остановился, но пересиливала себя: «Еще пять шагов!» — шептала она... За пятью следовали еще пять и еще, и когда действительно иссякали последние силы, Шахов, словно угадывая ее состояние, останавливался сам.

— Поди, устала? — говорил он, — отдохни.

Аня молча садилась рядом. Вокруг была тихая темень. Вершины деревьев плотно сходились друг с другом, и только изредка мелькала далеко-далеко, в случайном просвете, одинокая звезда. Харитон на руках Шахова дышал прерывисто, тяжело.

— Эк, ведь, умаялся парень, — говорил Шахов, бережно держа его на весу.

От грубоватого низкого голоса Шахова, от всей его сильной ладной фигуры, от уверенного, чуть скуластого лица, от того, как он легко и заботливо нес Харитона, веяло на Аню спокойной, ровной силой. Она сразу же почувствовала безграничное доверие к Шахову и не спрашивала, куда они идут, далек ли еще путь. Она сидела рядом с Шаховым, молча набираясь сил и спокойствия. Спутник его был иным. Он весь был беспокойство, торопливость, настороженность. Он первый поднимался на этих коротких остановках, как раз в тот момент, когда Ане казалось, что посиди она еще немного, совсем немного, и она вполне отдохнет. Но спутник Шахова говорил своим резким, каким-то сухим голосом, слегка заикаясь на начале слова: — «П-пошли» — и они шли дальше. Ане он был непонятен и неприятен.

К рассвету они вышли на край оврага, сплошь заросшего лесом. По крутому обрыву спустились вниз, прошли по дну, пересекли небольшой родниковый ручей и остановились у обвалившегося сверху векового дуба, который корнями своими увлек целую гору земли с кустами и мелкими деревьями, густо разросшимися в сырости оврага и образовавшими сплошную зеленую стену. В ней, при слабом утреннем свете, можно было различить темное отверстие, полуприкры-

тое сверху кустом орешника. Шахов нырнул под зеленый свод. Аня прошла за ним темным коридором и остановилась, почувствовав, что попала в пещеру.

Трепетный огонек свечи озарил земляные стены и низкий потолок, покрытый сетью отмерших корней дуба. Около стен были устроены земляные лавки и две кровати на колышках, застланные плащпалатками. В углу лежало оружие и различное военное имущество. Посредине пещеры стоял небольшой стол, покрытый пестрой маскировочной тканью.

Шахов положил Харитона на кровать. Харитон был без памяти и в жару. От огня свечи на лицо его падали резкие тени, и оно выглядело старообразным, мученическим. У Ани слезы навернулись на глазах и сердце защемило от жалости к Харитону, который стал ей как брат за последние сутки. Она уже не могла сдержать себя теперь, когда путь по лесу кончился, ее измученные нервы на все откликались с болезненной чуткостью.

Шахов выдвинул из-под кровати ящик.

— Вся медицина здесь, пользуйся, — сказал он и, взглянув на дрожащие губы Ани, спросил:

— Может, помочь?

— Нет, я сама — сказала Аня. Она, собравшись с силами, раздела Харитона, наложила повязку на рану и после этого почувствовала себя совсем ослабевшей. Как в тумане, борясь с нахлынувшим на нее сном, оглянулась она, чтобы попросить Шахова последить за Харитоном, пока она отдохнет, но Шахова в пещере не было.

12

На земляной лавке сидел его спутник, куря самокрутку.

— Давайте знакомиться, — сказал он, поднимаясь навстречу Ане, — Яров, младший политрук, когда-то литературовед, сейчас партизан.

Аня пожала ему руку. У нее было странное ощущение: все вокруг казалось нереальным, расплывчатым и вместе с этим отдельные детали воспринимались с навязчивой, болезненной остротой. Яров стоял перед ней, ниже ее ростом, узкоплечий, щуплый, но Аня видела его всего сразу, а воспринимала разорванно по частям. Длинные тонкие пальцы и горячая сухая ладонь, стремительный покатый назад лоб, резко очерченные скулы, на которых горел сухой оранжевый румянец, выдвинутый вперед острый подбородок и глаза — пристальные, колючие...

— Д-давно потеряли часть? — спросил Яров.

Аня ответила.

— Недавно... А я вот д-давно... — Яров неловко дернул головой. У Ани закружилось перед глазами и она мешком опустилась на лавку. Острое лицо Ярова поплыло, исказилось, стало кошмарным...Что-то пряное, жгучее опалило ей рот и прогнало туман.

Яров склонился над ней с флягой рома.

— Что с вами? — услышала Аня.

— Это ничего... устала очень... — пролепетала она. — Где Шахов?

— Ушел в деревню за платьем.

— В деревню? За платьем? — медленно повторила Аня.

— Для вас платье. Нельзя же вам через фронт итти в этом...

Слова Ярова не сразу дошли до Ани, а когда она поняла их, то отрицательно качнула головой:

— Нет. Я здесь останусь. Никуда не пойду.

Яров пристально и напряженно посмотрел на девушку. В его глазах, близких от лица Ани, она сначала увидела вопрос, потом боль и понимание. Это было как в кинематографе, когда ленту опускают медленно. «Я сейчас усну, наверное» — подумала Аня, — и еще раз качнула головой: — никуда я не пойду...

— Я понимаю вас, — сказал после молчания Яров. — И мы с Шаховым тоже остались здесь, а не пошли дальше.

— Шахов хороший... — неожиданно сказала Аня.

— Да, очень, — серьезно сказал Яров. — Он м-меня после к-контузии спас.

— Я спать хочу, — пробормотала Аня, приваливаясь к стене и закрывая глаза.

Яров помог ей подняться и подвел к свободной кровати.

— Отдыхайте.

— Я немного... а потом с вами... — лепетала Аня.

— Спите, спите, — сказал Яров, укрывая девушку шинелью, но Аня уже не слышала его. Покой охватил ее. Все решено. Она никуда не уйдет из этого леса, не оставит его немцам. Здесь ее последний рубеж. Голубой автобус, сверкая лаком и никелем, бесшумно прокатился перед ней, и Аня погрузилась в сон — мгновенно, сразу, каждой частицей своего измученного тела.

К БЕРЛИНУ ПОДХОДЯТ ВОЙСКА

Была в Сталинграде пора огневая,
И слух разошелся такой,
Что Сталин ходил по переднему краю
В шинели своей боевой.

Рвались недалеко снаряды и мины,
И дым над позицией плыл.
Он трубку свою знаменитую вынул
И легкий табак закурил.

И руку оставив за бортом шинели
(Так делает Сталин один),
Солдатам сказал неспеша и раздельно
— Отсюда пойдем на Берлин.

Солдатские сказы, как птицы крылаты,
А мудрость их — жизни близка.
Далеко шагнули родные солдаты,—
К БЕРЛИНУ подходят войска.

Март 1945 г.

О СЕДИНЕ

У пожилых людей есть гордость,
Чуть спор: «Да вы — молокосос,
Примите во вниманье возраст,
Я дожил до седых волос».
Но что же делать тем солдатам,
На ком большой войны следы?
Такой, еще не став усатым,
Уже становится седым.
Товарищ! У людей в шинели
На седину свои права.

Не дома же они сидели,
Когда седела голова.
И может быть в одно мгновенье
Солдат на много лет вперед
И смерть и жизнь переоценит
И мир по-новому поймет.

ЗЕМЛЯК

На этих днях в районе нашей части,
У энского стрелкового полка,
Я испытал огромнейшее счастье —
Я встретил земляка-сибиряка.

— Откуда сам? — Из города из Омска.
— Давно ли из дому? — Да и недели нет.
И завязалось крепкое знакомство
На много дней, а может быть и лет.

— Как там живут? Я, брат, давно там не был.
Почем там хлеб? Каков там урожай?
Эх, пышного, сибирской кухни, хлеба
Сейчас бы съел немалый каравай.

Мы только с полчаса поговорили
Простые повседневные слова,
Но, кажется, я побывал в Сибири
И, кажется, я дома побывал.

ГОД ПОБЕДЫ

Ты помнишь первые недели,
Когда шинели мы надели,
Когда враги в броне, в металле
Громы и молнии метали,
Когда вступили в первый бой —
О чем мечтали мы с тобой?
Когда в тяжелый год военный
Делились думой сокровенной,
На фронтовых кровавых тропах
Решали судьбы всей Европы
Своей солдатскою судьбой —
О чем мечтали мы с тобой?
За все врагу платя сторицей,

Беря столицу за столицей,
Преодолев и смерть и беды,
Тебя мы ждали, год победы...
Так встретим год победы свой,
О нем мечтали мы с тобой.

ПЕРВАЯ ПЛАВКА

СОВЕЩАНИЕ

Без пяти девять. В девять производственное совещание у главного инженера строительства. Совещание необычайное. Евсеев только что вернулся из Москвы. В Наркомате он должен был разрешить много производственных вопросов и получить новые задания. Кроме того, на площадке строительства сталелитейного цеха произошла крупная неприятность, взволновавшая руководство завода. Обо всем этом Евсеев сегодня будет докладывать.

В небольшом кабинете, освещенном настольной лампой, собрались руководители группы проектного отдела, начальники участков и мастера.

Главного инженера еще нет. Он появится точно в назначенное время. В ожидании его люди шумно делятся впечатлениями дня. Слышен мягкий басок инженера Игнатьева — руководителя строительной группы.

— Безусловно, план Евсеева принят...

— Иначе быть не может, выхода нет другого... — на одутловатом лице руководителя печной группы Аверина появляется улыбка. — Евсеев — голова!

— Представьте себе, агрегаты смонтированы... — начал было Пименов — ведущий инженер группы проектирования кранов, но кончить ему не удалось. Головы всех повернулись к двери. Разговоры смолкли.

Евсеев, широко шагая, прошел к столу. Взглянул на часы — девять. Рассказав об общих результатах командировки, он перешел к главному вопросу.

— Наш сталелитейный цех строится форсированными темпами, но этого недостаточно. Сейчас, как никогда, заводу нужно литье. Вы знаете, что заводы, поставляющие нам литье, теперь перегружены. Поэтому ГКО, учитывая, что наш мартеновский цех находится в стадии близ-

кого окончания, распорядился снять нас со снабжения литьем двадцатого числа этого месяца. Мы обязаны к этому сроку дать собственную плавку стали. Серьезность создавшегося положения вам ясна. Наркомат разрешил монтаж печей вести по очереди. Для первой печи, уже теперь готовой на три четверти, срок пятнадцатого числа. Остальные монтировать будет легче — детали для них отольем сами.

Игнатьев шепнул Аверину:

— Слышишь?... Я говорил, что его проект примут...

— С сегодняшнего дня, — продолжал Евсеев, — все наши силы, вся наша энергия должны быть направлены на окончание мартена номер один.

Он сделал паузу. Слышно было, как за окном гудят электросварочные аппараты. Где-то недалеко с грохотом и лязгом проехал танк. Тонкие кирпичные стены склада, временно приспособленного под контору строительства, сотрясались от его тяжелой поступи.

— А сейчас хочу знать, в каком состоянии находится проектирование, — взгляд Евсеева остановился на Аверине.

— Чертежи на заслонки готовы, Константин Николаевич?

— Не готовы, Николай Ефимович, — виновато ответил Аверин и хотел еще что-то добавить, но Евсеев уже смотрел на другие лица.

— У всех так же?

Люди молчали. Наконец поднялся Пименов. Он обрисовал положение с проектом крана. За ним Игнатьев и Бурдинов познакомили с ходом проектирования строительной и электрической части.

— Хорошо. Картина ясна, — заговорил Евсеев, прищурив глаза. — Ждать проектов производство не может. Все основные чертежи должны быть закончены в трехдневный срок. А вы, товарищ Аверин, послезавтра выдайте проекты на разливочные ковши, тележки, заслонки. Вы, товарищ Пименов...— под Пименовым резко скрипнул стул, тело подалось вперед, красноватый нос с силой втянул воздух, подпрыгнули роговые очки на переносье, — завтра отошлите монтажникам чертежи на кран, шахтные подъемники, лестницы. Через два дня вас и Аверина, для ускорения монтажа, направляю руководить работами по вашим чертежам. Товарищ Бурдинов, вам даю пять дней на согласование электросхем. Остальные к утру должны составить графики работ по своим объектам.

Евсеев замолчал. Все закурили. Густой табачный дым, клубясь, потянулся к потолку.

— Справимся? Верно?

Присутствующие знали: «верно», произнесенное таким то-

ном, ответа не требует. Поэтому, глубоко затягиваясь и деловито посматривая на кончики папирос, утвердительно кивали головами.

— Кроме того, нам предстоит справиться еще с одним вопросом, требующим немедленного решения...—Лица собравшихся вытянулись с выражением недоумения и любопытства. — Вы знаете, что в подземных помещениях стальцеха появилась вода. Это было не страшно, пока она покрывала только пол, а сегодня Поздняк сообщает, что вода залила смонтированные агрегаты и мы не можем не только продолжать монтаж, но и испытать готовую часть транспортной системы подачи формовочных земель, не можем думать о пуске печи до осушения тоннелей. Эксплоатационники, принимающие цех, подняли скандал, Поздняк требует немедленно принять меры к удалению воды...Игнатьев, ты осматривал?

Игнатьев встал, широко шагнул вперед. Его грузное тело загородило сидящих. По комнате прокатился густой басок.

— Осматривал, Николай Ефимович. Предполагаю, что это следствие обильных осадков. Почему отразилось поздно — непонятно.

Затрещал телефон. Евсеев снял трубку.

— Ну, ну, я, да! Нет, Константин Алексеевич. На планерке доложу. Да. Да...

— Дошла вода и до директора... Следовательно, Игнатьев, тебе непонятно? Завтра выясни, пригласи специалистов. Стыдно будет, если из-за воды не дадим литья, верно?!

Он взглянул на часы — совещание окончено — достал из кармана полосатого пиджака коробку с табаком, аккуратно свернул «козью ножку», глубоко затянулся и, удовлетворяя желание сослуживцев, стал делиться московскими впечатлениями.

В ЦЕХЕ

Евсеев быстро шагает по площадке строительства стальцеха, глубоко вдыхает чистый, без заводской копоти, воздух и, на минуту забывшись, отрывается от мыслей о производстве. Как хорошо! Ясный безоблачный день. Солнце, стоящее в зените, печет немилосердно. По телу разливается сладкая истома. Хочется присесть в тени, на зеленую траву и, прищурившись, смотреть в голубой воздушный океан. Как хорошо! Смутно вспоминается мирное время. Палитра с маслом, акварель... Сколько картин осталось там, в близко

ердцу, далеком Ворошиловграде... Евсеев поднял голову. Впереди стоит корпус мартеновского цеха, слева вздымается тройный ряд дымовых труб. Он смотрит на них — скоро, коро вы задымите! — Вернем потерянное, вернем!

На огромной высоте, по балкам между фермами главного ролета, спокойно шагают верхолазы. Внизу с разных сторон доносится сердитый гул моторов. Дробно стучат челюсти камнедробилки. Шумят, медленно вращаясь как карусели, барабаны бетономешалок. По дощатым дорожкам, разделяющим площадку на шахматные квадраты, рабочие, одетые в разноцветные спецовки, катят тачки. Невдалеке арматурщики гнут из круглых металлических стержней всевозможных форм арматуру.

Из-за камнедробильной установки показался человек, высокого роста, с клинообразной жиденькой бородкой, одетый в защитного цвета костюм. Увидев Евсеева, он обрадованно закричал тонким, почти женским голосом:

— Вас ищу, товарищ заказчик. Здравствуйте!

— А-а, товарищ подрядчик... Добрый день, добрый день, Владимир Петрович! — Евсеев быстро пошел навстречу главному инженеру строительной части Поздняку.

— Я, товарищ Евсеев, насчет воды...

— Что это вы сразу... экспромтом?! Знаете откуда она? Нет? А что я могу сделать?

Поздняк пожал плечами, пристально посмотрел в лицо Евсеева, отчеканил:

— Мое дело — получить чертеж, заказ и сделать подготовку.

— Так ли, Владимир Петрович? А может ждете, чтобы мы какую-нибудь премудрую штуку закатили? А вы явитесь с предложениями об упрощении и удешевлении!

Поздняк пробормотал что-то себе в бороду, крякнул и, немного помолчав, с гордостью заговорил:

— На то мы подрядчики, чтобы быстро и дешево строить. Смотрите! — он поднял сухую жилистую руку, показывая на панораму стройки. — Плохо строим?! Медленно?!

Евсеев смотрел на хорошо знакомые очертания готовых и строящихся корпусов, и ему казалось, что вся масса металла, дерева, бетона, использованная на эти сооружения, так быстро и твердо встала на свое место по волшебному мановению руки этого худенького человека. Евсеев опять перевел взгляд на Поздняка, на его высокий, прорезанный глубокими морщинами лоб. Как много ценного опыта у него! Культурный строитель, никакой горячки, повсюду спокойный рассчитанный ритм труда.

— Хорошо строите, Владимир Петрович! У нас с хозспособом похуже выходит. Для завода строим, а его люди, занятые своей программой, смотрят на нас, как на ненужный придаток. Поэтому график иногда срывается, а директор шкуру с меня в таких случаях готов содрать. Но несмотря на это, все же не отстаем от вас, успеваем следом за вами оборудовать цеха. Даже вот эти два, — Евсеев показал на длинные корпуса, — начинкой вас опередили. Сейчас меня беспокоит мартен. Пуск близится, а тут как гром с ясного неба — вода... — лицо Евсеева нахмурилось.

— Вы, Владимир Петрович, ничего не придумали?

Поздняк засмеялся.

— На сей раз, товарищ Евсеев, ничего не придумал, но надежды не теряю. Вы туда? — кивнул он в сторону мартеновского цеха.

— Да.

— А я по путям пройдусь.

В цеху с незастекленными окнами гуляет сквозняк. Прохладно. После жары — приятно. По узкой крутой лестнице Евсеев поднимается на рабочую площадку печи.

Рождающийся первенец сушится. Там, где будет кипеть сталь, мирно, по-домашнему потрескивают горящие дрова. На площадке суетятся люди: подносят детали, катят тачки, испытывают завалочную машину, похожую на неуклюжее, с длинным хоботом животное. Нагнувшись, около печи вращает массивный маховик задвижки Аверин. Его ввалившиеся, воспаленные глаза с синими кругами говорят о бессонных ночах, проведенных здесь. Сердитым голосом он распекает рядом стоящего подростка:

— Почему нет прокладок? Почему недовернуты муфты?

Подросток усердно вытирает руки о замасленный брезентовый костюм и, виновато наклонив голову, искоса посматривает по сторонам. Вдруг замечает Евсеева. — Начальник! — шепчет подросток и пробует улизнуть. Аверин, любитель читать нравоучения, полушутливым голосом останавливает:

— А ты подожди, подожди, мы еще с тобой поговорим... и поворачивается к Евсееву.

— Николай Ефимович, когда же литье будет? Фасонина?

— Цех дополнительную партию снарядов отливал, заказы наши задержались. Дать обещает, но говорят, что мы у них вне плана, график срывать не допустят.

Услышав голос Евсеева, подошел рослый, широкоплечий бригадир монтажной бригады Кожар. Его участок — ведущий. Другие бригады, боясь отстать от него, следят за его рабо-

той, часто справляются — как дело? Кожар улыбается в свои широкие украинские усы, гладит ладонью голый подбородок и с гордостью отвечает:

— Бачь як, по грахвику! — он кивает на голубую фанерную доску с синей и красной линиями. Затем, прищурившись, смотрит на красное, бархатное знамя, прикрепленное к колонне...

Сейчас Кожар, озабоченный отсутствием необходимых материалов, сердито наступает на Евсеева:

— Хиба ж це работа? Да шоб у тих снабженцив очи полопались. Вы послухайте, як воны нам дитали дають: задвижек семь осьмых и дюймовых нету, муфт три осьмых нету! Да шо ж воны там роблять?!

— Ты, Кузьмич, нападай не особенно, есть нерадивые, есть и в передовых. А насчет задвижек — прав. Искали на всех больших и маленьких заводах, в городе кое-где есть — самим нужны. Все же вчера нашли, сегодня или завтра будут. Евсеев сделал паузу, взглянул в глаза Кожара, хитро прищуренные под густо нависшими бровями, ласково спросил:

— Как, Кузьмич, твоя Агриппина Николаевна поживает? — Кожар сердито отмахнулся рукой, но довольный тем, что начальник вспомнил про его жену, знакомую с ним со времени эвакуации, ответил:

— Никуды старуха стала. Хворае.

— А сын как? Василий, кажется?

— Василий. Василий нашел нас. Прислал письмо, — жив, здоров. Особо ничего не пише, но каже, що нимцам крышка буде. А вин що небудь да разумие, — глаза Кожара засветились горделивым отеческим огоньком. — Капитан уже!

— К концу войны полковником сын станет, а?!

— Стане! — Кожар улыбнулся и торопливо бросился к своим рабочим, призывавшим его на помощь. Вскоре к шуму монтажа добавился его ворчливый старческий тенорок.

Евсеев, засучив рукава пиджака, вместе с Авериным осмотрел печь, покрутил винтеля, заглянул в топочное отверстие. Уходя, бросил находу:

— Ты, Аверин, иди, часов до четырех поспи.

— Успею, Николай Ефимович. Пустим, отосплюсь!

Широко расставив ноги, Евсеев стоит на площадке крана. Главный пролет цеха виден, как на ладони: два стройные ряда колонн заканчиваются вверху металлической паутиной покрытия. Внизу, освещенные ярким светом фонарей, видны прямоугольные глубокие ямы с торчащими из них, как руки великанов, каркасами арматуры. Посреди цеха

стоит железнодорожный состав. Маленький паровоз отчаянно чадит. И везде, повсюду, — люди! Одни, как муравьи, перекатывают огромных размеров тяжести. Другие, ритмично сгибаясь и разгибаясь, укладывают кирпич и бетон. Отбрасывая чудовищные тени от людей и предметов, вспыхивает дрожащим синим светом электросварка. Скрипят мачты подъемников, гудят моторы, раскатами орудийной канонады громыхает железо под ударами кувалд.

Евсеев долго смотрит на картину пробуждения к жизни сложного, колоссального организма.

— Николай Ефи-мы-ыч! — донесся с другого конца крана глухой голос.

— Слу-ша-аю-ю!

— Идите сюда-а!

Евсеев спустился в кабину крана. Пименов, отчаянно жестикулируя руками и морща лицо, от чего его роговые очки подпрыгивали на носу, кричал:

— Смотрите! Это что? Троллеи-пути или американские горки?! Нет, нет, вы отсюда поглядите! Видите?

Евсеев удивленно посмотрел на пляшущие линии троллей, а Пименов, брызгая слюной, продолжал:

— Безобразие! Как пройдет кран? Когда выправят?

Глаза Евсеева метнули молнии, шрам на щеке побагровел:

— Продолжай монтаж, Николай Михайлович, — он хлопнул Пименова по плечу и, круто повернувшись, быстро ушел.

Через час бригада монтажников правила троллеи и пути. Мастер виновато оправдывался:

— Окончательно мы не крепили. Сами они, на другую работу перевели... срочно...

Первым этапом осмотра Евсеев остался доволен. Ход работ опасений не внушал. Остается самое неприятное — как-то там? Окажется ли вода скалой, о которую разобьются все наши усилия? Доискался ли Игнатьев причины?

— Товарищ главный инженер!

Евсеев оглянулся. Перед ним стоял мастер монтажа транспортных систем формовочного отделения. Высокий, худой, в замасленном комбинезоне, с выражением растерянности на лице, он, неловко махая руками, объяснял:

— Транспортер номер семь в ферму влез... бункера готовы, опуститься ниже нельзя, в проекте ошибка.

У Евсеева усиленно застучало сердце, — монтаж срывается, переделать эстакаду для транспортеров и бункеров к сроку не удастся. Плавки не будет... — его глаза расширились.

— Что ты говоришь?! Какая ошибка? Может быть, неверно сделали разбивку?

— Разбивал два раза.

При входе в формовочное отделение Евсеев остановился. Здесь земля, выбитая из форм, поступает в подземные помещения, где по разветвленной сети тоннелей подается к местам переработки. От них в готовом виде транспортерами поднимается для формовки под перекрытие цеха и поступает в бункера, из которых по мере надобности рассыпается в формы.

Евсеев немигающими глазами смотрит на всю эту сложную систему переплетающихся стержней эстакад, площадок, электрических кранов, машин. Ужас охватывает его — под землей монтажу и пуску мешает вода, вверху не помещаются транспортеры. До пуска в эксплоатацию остаются считаные дни. Неужели напрасно пропадет труд огромного коллектива людей? И всему виной я, пропустивший неверный чертеж?! Да меня надо... в такое время... Вдруг он вспомнил о рядом стоящем мастере, взглянул на него, на ферму, лицо стало непроницаемым, спокойным.

— Давай проверим вместе.

Как хорошие физкультурники, они быстро добрались до фермы. Натянутая бичева прорезала ее. Евсеев не верил глазам. Зло выругал подрядчиков и субподрядчиков — напроектировали. Здание на одной высоте, начинка на другой... чтоб им!... Попробуй, найди виноватого. И я не досмотрел...

Результаты после проверки остались прежними. Спустившись, Евсеев звонил по телефону:

— Проектный? — Игнатьева! Как у тебя с водой? Так... Иди сюда. Блок два. Жду.

Тучный инженер Игнатьев скоро появился, встревоженный.

— Что случилось, Николай Ефимович?

— Иди сюда, смотри!

— Ничего не пойму...

— Видишь, бичева к ферме прибита?

— Вижу...

— Это ось транспортера!

— Ну-у?

— Что ты скажешь?

— Что ж тут скажешь? Надо опустить транспортер.

Евсеев резко повернулся, сердито посмотрел на Игнатьева.

— Вы знаете, что значит опустить транспортер? Весь цех надо вкопать в землю!

— Что вы, Николай Ефимович...

— Поэтому прорежь ферму!

— Невозможно, Николай Ефимович. Пролет четырнадцать метров, упадет!

— Сделайте так, чтобы не упал.

— Николай Ефимович, никогда не встречал и не слышал...

— Сделайте, тогда увидите. Мало ли о чем не слышали? Литейных и кузнечных цехов с деревянными перекрытиями не видели, а теперь не только видим — сами строим, и ферму с дырой увидим!

Игнатьев, наклонив голову, долго думал. Потом взглянул на Евсеева, неуверенно спросил:

— А если на колонны опереться?

— Делайте, что хотите, лишь бы была дыра!

— Хорошо. Посчитаю.

— Давно бы так!... Докладывай насчет воды.

— Ходил вместе с Владимиром Петровичем, мест осмотрели много и... нашли! Под железнодорожной насыпью, разделяющей озера, уложена труба. Оглядели ее с одной стороны и с другой и... что же? Движения воды совершенно нет! Оказывается, она деревянная, сгнила, теперь раздавлена насыпью.

Лицо Евсеева просияло.

— Значит, причина найдена?!

— Найдена, Николай Ефимович.

— Что же дальше?..

— Думали уложить заново железобетонную, но с ней не выдержим срок. Владимир Петрович предложил построить опять деревянную. Я с ним согласился. Сделал эскиз. Вот...

Евсеев долго рассматривал небольшой кусочек ватмана. На упрощение итти не хотелось, но перед глазами, разбрасывая ослепительные искры, лилась жидкая сталь, гудели мощными моторами танки... Нет! Задерживать нельзя!

— Сделаем так! — подойдя к колонне, он подписал эскиз

БРИГАДА БОРИСОВА

В маленьком деревянном домике разместилась контора участка. В комнатах не слышно телефонных звонков, нет толчеи и громких шумных разговоров. Изредка забежит мастер или десятник, покопается в столе, посмотрит чертеж, сделает на клочке бумаги пометки и быстро исчезнет. Надоедливо жужжат мухи. Душно. Только изредка в раскрытое окно врывается освежающая струя воздуха.

Поздняк сидит за столом прораба. Поминутно вытирает мокрым платком шею и лицо. Перед ним, вытянув по швам руки, стоит белокурый, широконосый парень лет двадцати пяти. Он непомерно большого роста. Поздняку кажется, что кудрявые волосы парня вот-вот заденут за матку потолка.

— Я, товарищ начальник, хотел вернуться во-время, а... — парень замялся.

— Что «а»? — стараясь придать грубый тон голосу спросил Поздняк, но «а» получилось почти отеческое, ласковое.

— А... — парень еще помялся. Его взгляд, блуждавший по углам комнаты, по стенам, устремился в глаза Поздняку. Правая рука, нарушив дисциплину, резко поднялась вверх, и как бы толкнув что-то в воздухе, опустилась.

— Ходил в кино, а после... проводить пошел... — парень помолчал, — а работаем мы, товарищ начальник, двенадцать, четырнадцать часов, а то и больше. Норму выполняем... Неужто проштрафиться нельзя? Мы ж три месяца на казарменном положении!

— Дисциплина, Борисов, должна быть дисциплиной. Надеюсь впредь не повторишь?

Борисов промолчал. Поздняк, сузив глаза и пристально глядя на него, продолжал:

— Позвал сюда тебя, чтобы дать задание. Ответственное, тяжелое, срочное!

Глаза Борисова оживились — доверяют, прошло!

— Давайте! — на загорелом, усталом лице Борисова отразилась радость.

— Твоей бригаде поручают смену сгнившей трубы. От быстроты вашей работы зависит срок пуска печи, час начала эксплоатации вот этого огромного цеха! — Поздняк повернулся к открытому окну и показал на высоко поднимающиеся красные стены стальцеха. — Срок четыре дня... Знаю — мало! Но усилить бригаду нельзя, будет тесно.

Борисов сосредоточенно глядел в угол комнаты, пальцы его большой жилистой руки, что-то подсчитывая, сжимались и разжимались.

— Скажи, Борисов, не подведете?

— Сделаем, товарищ начальник! Дайте спец — резиновые сапоги, брезентовые костюмы — и в столовой что-нибудь получше... сами знаете...

— Будет! Договорились?

— Да.

— Иди, знакомься.

Большой, слабо освещенный барак. Рабочие дневной смены лежат на нарах, штопают одежду. Расставив на плите котелки, варят картошку. В темном углу барака пиликает гармонь.

У деревянного топчана собралась бригада землекопов. В центре сидит Борисов. Передав содержание беседы с начальником, он щурит правый глаз и, часто поправляя свисающие кудри, ждет мнения людей.

Низкорослый крепыш Опаров, почесав висок, крякнув подряд несколько раз, обратился к Борисову:

— Дайкось я скажу.

— Говори.

— Оно дело нелегкое. А что ж, братцы, разве не приходилось работать? Работали! Само начальство просит. Знать важное дело! Возьмемся, сделаем. Лицом в грязь не ударим!

— Сробим! Сделаем!

— Значит, слово даем, хлопцы?

— Даем! — дружно подхватила бригада.

— Эй, Федор, ты что это несуразное играешь? — повернувшись в сторону монотонно пиликавшего гармониста, крикнул Опаров. — Давай сюда! Тряхни веселей! Завтра на особое идем!

Около барака, на призыв гармони, собралась из соседних общежитий молодежь. Несмотря на усталость, на неполный желудок, ребята веселились. И долго еще в засыпающем рабочем городке, разрывая тишину ночи, раздавались звуки вальсов, камаринской, русской.

Грохотали перекатами грома тучи. Яркие вспышки молний зигзагами бороздили небо. Тяжелые струи дождя лились на землю. Промокшие насквозь люди бригады Борисова заканчивают прокладку трубы. В нервном подъеме сил кипит работа. Энергичный Опаров, вбивая тяжелым «барсом» сваю, покрикивает на напарника — Ермолаева:

— Ну, ну, не клюй носом, а то клюну «барсом».

Поодаль Борисов с остальными людьми тащит толстое бревно. Громко, нараспев, считает:

— Ра-аз, два-а, по-да-лась!

— Три, четыре, под-ня-лась!

Тяжелое бревно скользит по обшивке трубы. Быстро подается вверх.

Плотники стучат топорами. Им сейчас подадут бревно, щиты. Будут забиты последние гвозди. Начнется засыпка. Усталые лица улыбаются. Хочется запеть. Лишь обидно, что

в такой момент немилосердно хлещет дождь и этот Опаров как мальчишка, орет:

— Дождик, дождик пуще!

— На чорта он тебе нужен? — сердито кричит бородатый плотник Матвеев.

— А как же? Огород ты садил? Садил! Так голосуй за дождь!

— Тебе б зубы все скалить...

Опаров кончил забивать сваю. Проворно подскочил к бревну, которое тащили, и казалось, что от прикосновения его рук оно быстро, послушно село на место. Сейчас же его оседлали плотники.

Борисов распрямил широкие плечи, поправил прилипшие ко лбу кудри, посмотрел на бригаду.

— Даешь конец!

— Даешь!

Еще быстрее застучали топоры, замелькали лопаты. Опаров незаметно пристроился около Борисова. Усердствуя больше, чем следует, он поминутно делал глотательные движения и хитро, прищурившись, подмигивал бригаде. Это веселило. Люди не замечали, как быстро подвигается работа, но все недоумевали — что за знаки он делает?

Летели комья земли. Шумел дождь. Вспыхивали молнии. От грома, казалось, дрожит земля. Опаров, как ни в чем не бывало, напевал частушку:

В облаках пророк Илья
На коне катается!
Разрешите знать, друзья,
Чем там конь питается!

Но как ни веселил Опаров, люди с тревогой смотрели на зияющее отверстие. — Еще много, очень много надо бросать! Успеем ли? — задавали они себе вопрос и смотрели на бригадира. Его лицо было спокойно, но иногда хитрая улыбка играла на его губах. Изредка он поднимал голову, смотрел в сторону строящихся цехов. Тогда можно было заметить его волнение. Неожиданно глаза его радостно заблестели — к котловану шел начальник.

Поздняк, торопливо шагая, ежился от капель дождя, попадающих за ворот плаща.

— Кончили или нет? Евсеев, директор несколько раз сегодня справлялись. Завтра хотят испытать...

— Кончили, товарищ начальник!

— Молодцы! — ему захотелось обнять, расцеловать стоящих перед ним людей в грязных брезентовых костюмах с

измученными лицами и сияющими радостью глазами. Поблагодарив каждого, оглядел прорыв.

— Э-э... Борисов, ты, что же это а? Устали, ноги должно быть еле двигаются, а сделали сверх уговора?!

Опаров, крутившийся все время около, с укоризной посмотрел на бригадира. — И нам ничего не сказал?! Ну, да ладно, вон как благодарит начальник. Большое дело сделали!

— Вас ждал, товарищ начальник, работу сдать, а стоять не привыкли — руки зудятся.

— Продрогли изрядно? — спросил Поздняк.

— Очень даже изрядно! — подхватил Опаров. — Оно бы, товарищ начальник, — он подмигнул бригаде, и, щелкнув себя по шее, сделал глотательное движение, — погреться не мешало!

— Верно! — поддержали остальные и, поняв жест Опарова, дружно рассмеялись.

— Хорошо, хорошо, — согласился Поздняк, — а сейчас выбивайте шпунт.

— Есть выбить!

Опаров взял топор и кубарем скатился вниз. Вода, журча и пенясь в водовороте, вместе со щепой и обрезками досок устремилась в отверстие трубы.

В ПРОЕКТНОМ ОТДЕЛЕ

Евсеев в проектном отделе. Игнатьев с радостным волнением докладывает ему:

— Ферма, Николай Ефимович, получается на славу!

— Подпорки ставишь?

— Нет! Усиливаю пояса накладками и обрамляю отверстие.

Евсеев улыбнулся, глаза выбросили целый сноп задорных искр.

— А ты говорил — не выйдет! Все выйдет! Знаешь пословицу: «Терпенье и труд все перетрут», а для терпенья нужно желанье. Верно?

— Вполне согласен, Николай Ефимович!

Евсеев удовлетворенно потирает руки, — вода завтра уйдет, ферму прорежем быстро, плавка состоится в срок. И даже завтра можно отправиться на огород. — В приподнятом настроении он смотрит вглубь знакомого зала, в котором напряженно работает технический мозг стройки. Большие окна. Ряды чертежных столов. Стопки книг. Огромная карта Ев-

ропы на стене. Мягкий электрический свет, — как здесь хорошо!

В копировальной группе кто-то из девушек тихо запел «Сулико». Евсеев прислушался. Ему захотелось сесть за стол, взять циркуль, рейшину и, подпевая девушкам, приняться за работу.

Постепенно вокруг него собрались все. Говорили о Турции, Японии, союзниках. Признанный сослуживцами авторитетным политиком главный конструктор Павлов занял место у стола напротив Евсеева. Ивану Петровичу за пятьдесят, но выглядит он молодо, бодро. Сейчас с увлечением говорит о суде в Турции над Павловым и Корниловым.

— Как бы там ни было, — прервал его Степкин, — а процесс опять откладывают...

— Хе.... хе... хе! — рассмеялся Иван Петрович своим мелким добрым смешком, — дело не в Павлове и Корнилове. Процесс может тянуться долго: зимой и весной мы наступали — с Павловым и Корниловым дело тянулось, а начнут немцы...

— Что-то они, — вставил Евсеев, — не торопятся. Зимой кричали: подождите, придет весна! После Москвы очухаться не могут.

— Скорей бы союзники выступили, — задумчиво проговорил Игнатьев.

— Да, союзники, — авторитетно начинает Иван Петрович, — они готовятся!

Евсеев бросил:

— Лучше всего по русской поговорке: «На бога надейся, а сам не плошай».

— Верно!!! — вокруг него раздался дружный смех.

Наступила пауза. Евсеев закурил. Закашлялся. Игнатьев удивленно поглядел на него.

— Николай Ефимович, что у вас такое? Может, курить бросили бы?

— Не могу. Пробовал. Нет банки с табаком — места себе не найду.

И обращаясь к Игнатьеву, проговорил:

— Извини, Игнатьев, отвлекли тебя разговорами, а работу кончать надо!

— Ничего, утром сдам!

ОПЯТЬ ВОДА?

В стальцехе случилось невероятное! Вода не ушла. До плавки осталось три дня. Срыв срока ГКО становился реальностью.

У директора было бурное заседание, Евсеев выскочил из кабинета потный, красный.

— Что со мной случилось?! — произносит он вслух, не замечая этого, — меня спрашивают, ругают... а я... ни ответить, ни защититься не могу!

Срочно вызванный Игнатьев стоит в кабинете Евсеева у стола, заваленного кипами чертежей. Лицо Игнатьева заметно похудело, под глазами синие круги. Головные боли мешают ясно и свободно мыслить. Вдумчивая работа дается с трудом. Сейчас он, стараясь понять, что произошло с водой, не может сосредоточиться. В голову назойливо лезет мысль — поспать бы, отдохнуть... Голос Евсеева заставил вздрогнуть.

— Не пойму! Никак не пойму! Сделали нивелировку... уровень воды озер одинаков, а в тоннелях ни на один сантиметр не убавилась?!

— И я не пойму, Николай Ефимович...

Они склонились над геологической картой площадки, смотрели буровые журналы.

— Видишь, Игнатьев, везде уровень воды при изысканиях и наблюдениях был ниже. Теперь поднялся. Почему он поднялся?

— Поднялся?.. Это ничего, но почему не понижается?

— Да, почему?

И две головы, освещенные бледным светом настольной электрической лампы, склонились над чертежами.

Борисов лежал на топчане в душном бараке и не мог заснуть. Ворочаясь с боку на бок, думал — такую работу свернули, а зря! Говорят, вода, как была, так и осталась. Значит не только в трубе дело. Есть еще что-то. Что? — мысль эта не давала покоя. — Шутка ли, бороться за срок и вдруг... Борисов перебирал в своей памяти слышанное о подземных водах. Когда-то он работал на Урале с геологами — таскал инструмент, держал рейки. В часы досуга расспрашивал о тайнах недр земли. Там узнал, да и в семилетке когда-то учил, что воды в земле текут между определенными пластами, под ними должна быть глина... Жирная глина... Борисов сбросил одеяло. Сел. Глина! Ему представились горы глины, которые они на вагонетках два месяца возили из котлованов цеха в озеро. Четверть озера засыпали! Разве вода пройдет?

Утром Борисов встретил Поздняка у входа в подземные помещения. Поздняк, теребя рыжую бороду, в раз-

думье смотрел на блестевшую в отверстии люка воду. Еще рано утром (который раз за последние дни!) осмотрел он берега озера, отвалы грунта. Борисова он встретил недружелюбно, несколько раз подряд окинул строгим взглядом небрежно одетую, высокую фигуру.

— Провожал, говоришь?

Борисов смутился.

— Ты что же, растерялся? Ходил провожать?

— Хо-дил, — неуверенно проговорил Борисов.

— И нестыдно, Борисов. Парень, с девушками крутит, а в таком виде?! Разве трудно себя привести в порядок? Девушку бы твою сюда...

— Да, я, товарищ начальник...

— Вижу, а утром, где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось: встал, умылся, причесался; костюм — пускай он не особенно хорош — почисти, встряхни. А ты в таком виде всю стройку обегал, на глаза начальнику появился.

Борисов смущенно опустил руки, его глаза виновато избегали взгляда Поздняка.

— Больше не повторится, товарищ начальник.

— То-то! Рассказывай, что придумал? — ласковым голосом заговорил Поздняк.

Запинаясь, Борисов изложил свои догадки.

— Молодец, большое спасибо за заботу, только... а-а, товарищи Евсеев и Игнатьев! Как раз во-время. И он передал содержание разговора с Борисовым, после чего продолжил прерванную мысль. — Только не поднять нам эту работу. Озеро образовалось в выемке для железнодорожной насыпи, выход туда законопатили мы сами отвалами. Под целиком грунты лессовидные, воду пропускают медленно. Напрашивается устройство дренажа. Осилим ли? Как думаете, товарищ Евсеев?

— Согласен, попроще что-нибудь не мешает. Дренаж запроектируем. Изыскания начнем завтра же, а сейчас... это не выход...

—Я думал так, — продолжал Поздняк. — Во-первых, вырыть в пониженных местах тоннелей приямки, во-вторых, опустить туда рукав и... присоединить к насосу! — Поздняк рассмеялся, рассмеялись и остальные, обрадованные простотой временного выхода из затруднительного положения.

— Вполне достаточно! — чуть не во весь голос закричал Евсеев. — Можем опробовать все системы! Можем лить сталь!... Странно, почему мы с Игнатьевым не дошли до такой простой мысли?... Не специалисты?...

— Нет, — отрицательно покачал головой Поздняк, — не

поэтому. Вы с Игнатьевым искали капитальный выход из положения, хотели убрать воду раз и навсегда, я следовал за вами. Время на поиски вышло. Поэтому пришел вынужденно к такому решению. А помог мне он, — Поздняк повернулся к Борисову, но увы... его не было... Поздняк растерянно посмотрел на Евсеева и Игнатьева, потом рассмеялся: — Он прав, нечего напрасно торчать здесь. Сегодня даю распоряжение установить насосы и проложить желоба, а вы, товарищ Игнатьев, надеюсь, во-время выдадите чертежи?

— К утру будут готовы!

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Завтра должна быть плавка! Ночью заработали насосы, откачивающие воду. В тоннелях сухо. Гудят моторы, несутся в бесконечном движении ленты транспортеров. Работают десятки различных агрегатов. Евсеев внимательно осматривает все. Нужно быть уверенному самому, прежде, чем докладывать о готовности.

В одном месте собралось несколько человек, знаками зовут Евсеева. Он подошел. Бригада сегодня должна установить бегуны, но болты в фундаменте забетонированы неверно, люди нервничают, срывается срок... На Евсеева обрушивается поток жалоб. Он внимательно слушает, ругает про себя, на чем свет стоит, виноватого в этом инспектора, должно быть подписавшего акт без проверки разбивки. Затем вместе с бригадиром проверяет ошибку. На листке из блокнота набрасывает эскиз.

Перед выходом из блока Евсеев посмотрел на ферму с отверстием: через нее стремительно несется лента, нагруженная формовочной землей, — как будто бы так и надо.

В главном пролете двигается второй кран, его только сегодня пустили. На кране стоит Пименов. Заметив Евсеева, он что-то кричит. Голос его, не достигая цели, растворяется в общем гуле и грохоте.

Сердце Евсеева наполнилось радостью. Все постепенно пришло в движение.

У печи работа в полном разгаре. На площадку загружают шихту. Монтажники заканчивают испытание сложных питательных систем. Аверин и Кожар сидят на кучке огнеупорного кирпича и о чем-то спорят. В руках у них папиросы.

— Добрый день, труженики!

— Здравствуйте, товарищ начальник!

— Покуриваете?

— Что ж делать? — поднявшись навстречу Евсееву, сердито говорит Кожар, — дайте литье.

— Сегодня будет!

— Вы уж постарайтесь. Не хочется первенство уступать. Шесть месяцев! — Кожар показал на знамя.

Евсеев посмотрел на красное, бархатное полотнище знамени, на стареющее лицо Кожара, на его седую голову.

— Не беспокойся, Кожар, к вечеру подадут, задержавший получил по заслугам, будет поворачиваться быстрей.

— О, я, Николай Ефимович, отчаялся ждать, — выгибая паклей руки, испачканные мазутом, заговорил Аверин,— набросал эскиз временных заслонок, из прокатных профилей. Такую заслонку можно быстро сварить, — он достал блокнот и показал Евсееву.

— Прекрасно, сейчас же высылаю к тебе слесарей и сварщиков. Одно другому не мешает, используем лишние на следующих печах.

С площадки Евсеев уходил, думая об Аверине — хороший инженер, любит свое дело, сколько дал ценных предложений!

Поздно. Евсеев сидит в своем кабинете. Ожидает телефонного звонка Аверина. Устало опустилась голова на руки. Непреодолимая сила клонит ко сну, закрывает глаза. А мысль отдыхать не хочет. Завтра большой день. Захлестывает волна воспоминаний. Вот он едет с далекого запада в неведомую Сибирь, — что ждет впереди? Непроходимая тайга? Глубокие снега? Жгучие морозы? Может быть даже медведи, расхаживающие близко от человеческого жилья? Приехали! О тайге, о медведях у сибиряков спросить стыдно, не то что увидеть! Затем дни тяжелой напряженной работы. Эшелон за эшелоном прибывает оборудование. Приспосабливается старое, строится новое. На каждом шагу — скорей, скорей! Ломаются полы, ненужные фундаменты, летят перегородки... — Проект, проект! — прибегают с производства мастера и начальники будущих цехов, вырывают из под рук конструкторов чертежи, делают записи и несутся обратно. Завод заработал. Из ворот сборочного цеха выехала первая боевая машина. Встречать первенца пришли его создатели. У многих там, далеко на западе, остались родные, близкие, и у многих их не стало. Теперь родной мститель идет туда, на запад! Крепнет завод, набирает темпы.

В дверь с шумом вбегает Аверин.

— Николай Ефимович! Заслонки поставили, загрузку начали!

ПЛАВКА

Мощно гудит огромная печь. Из отверстий в массивных загрузочных заслонках вырываются красные и белые языки пламени. По фронту печи в просторном брезентовом костюме расхаживает сталевар. На глазах у него темные очки. Жилистое лицо сталевара спокойно — он опять в своей стихии. Разрушенная печь, оставленная на западе, вновь ожила здесь, в далекой Сибири. Опять так же, как там, продуманно четки привычные движения Кирякова. Легко, будто играя, ходит он по широкой светлой площадке.

Двое подручных внимательно следят за его движениями. Для них еще нов процесс сталеварения, и сегодня они получают крещение, напряженно следят за действиями своего командира.

Киряков у центрального отверстия. Поднял руку. Один из подручных открывает заслонки, второй подает сталевару «ложку», а себе берет лопату. Медленно поднимается заслонка. С оглушительным рокотом и ревом вырывается наружу мощный столб белого пламени, накаляя палящим жаром окружающее пространство. Киряков спокойно сует в клокочащую пасть «ложку». С еще большей силой летят бушующие столбы огня, угрожая ослепить людей.

Сталевар, зачерпнув легким движением кипящий металл, льет его в форму; подручный разбивает струю лопатой и бросает брызги стали в ведро с водой.

Заслонка опустилась. Опять гудит и недовольно клокочет укрощенная, замурованная огнеупором стихия огня.

Результаты пробы сообщены Кирякову.

— Кидай, право, лево! — кричит он помощникам. Голос его тонет в гуле печи. Показывая руками, он повторяет:

— Туда, сюда!

Воет мотор завалочной машины. Она, как живое существо, толкает свой хобот с коробом в кипящие внутренности печи.

Последняя проба. Киряков удовлетворен. Он берет лом и отправляется пробивать летку.

Главный пролет мартеновского цеха. На колоннах и стенах видны флаги, лозунги, разноцветные плакаты. Цех нарядился к первому дню работы печи. Внизу плотной массой стоят люди. Взгляды их прикованы к маленькой, в масштабах здания, точке. Там сталевар, с силой ударяя ломом, пробивает летку.

Последний удар... С гулом, шипеньем понеслась вперед

мощная лава расплавленного металла, грозно мечутся огромные языки пламени.

Как зачарованные смотрят Евсеев, Поздняк. Без движения стоят Аверин, Игнатьев. Пораженные красотой невиданной картины замерли Борисов, Кожар, вся масса собравшихся.

А сталь, сверкая, разбрасывая каскады разноцветных искр, бурным потоком наполняет ковш. И кажется, что мощный столб воздуха загорелся красными, синими, оранжевыми огнями, несущимися в бесконечном движении сверху вниз.

Ковш полон. Кран, сотрясая здание, понес тяжелую драгоценную ношу. Осторожно опустил ее над маленькой опокой. Сталь тонкой струйкой потекла в летник.

Первая страница истории мартеновской печи номер один отлита.

Заиграл оркестр. А люди, зачарованные красотой зрелища, все еще смотрели на разноцветные гигантские фейерверки, разбрасываемые текущей сталью.

НИКОЛАЙ МОСКАЛЕВ

САМОЛЕТ

Он видит: солнцем озаренный
Горит весенний небосклон.
И слышит: низкий отдаленный
Возник густой моторный звон...
И вот над маревною далью,
Как голубеющий мираж,
Дразня сверкающей эмалью,
Шел самолет в крутой вираж.
В нем собран волей мускул каждый
И дерзкий облик плоскостей
Проникнут ненасытной жаждой
Больших высот и скоростей!
На развороте на мгновенье
Скользнул крылом, как взмах клин
И в бесконечности стремленья
Пропал во мглу и облака.
Затих, а свод такой же синий,
Пуховых туч ленив забег,
Но стало ярче, ощутимей
В чем беспределен Человек.
И он нашел в походке твердость,
Кровь стала жарче в жилах течь.
И человеческая гордость
Расправила сутулость плеч.

МЕТЕОРИТ

Когда, какой конец вселенной
Тебя крестил, вдохнув огонь?
Теперь ты здесь: обыкновенный,
Устало давишь на ладонь.

Что видел ты? Чьих сил приметы
Избороздили твой покров:
Крушенья гибнущей планеты,
Иль взрывы звездных катастроф?

Случайный гость пустыни звездной,
Где всюду жизнь распылена,
Не перенес ли ты из бездны
Нездешней жизни семена?

На гранях тусклого металла
Случайна тонкая тесьма,
Иль разума рука чертала
Нам непонятный смысл письма?

Мир непохожий, мир далекий,
Который сам давно исчез,
Быть может здесь оставил строки
О красоте своих небес?

Пока в исканьях откровений
Мы всех ответов не нашли,
Как утверждать, что Жизнь и Гений
Есть привилегия Земли!

Нет! На краю у вечной бездны
Мы в небо смотрим не одни,
И мир бескрайний многозвездный
Не только нам искрит огни.

В ЛЕСУ

Воскресенье.

Над избами — запах свежего хлеба и банного пара, притаившегося где-то еще со вчерашнего субботнего вечера. Избы спускаются по склону, сперва пологому, а чем ниже — тем более крутому, и внезапно останавливаются над краем высокого, обрывистого яра.

Вниз, к реке сбегают замысловатые, словно ручейки, тропинки, пересекая широкий, черный и укатанный взвоз, на котором даже издалека видны ступени, выбитые копытами лошадей.

На взвозе — большая, беспокойная стая ребятишек. Ребячий гомон с утра повис над селом, над рекой и теряется где-то в необъятном лесу. Ребятишки тихо, словно сонные жуки, выползают по взвозу наверх. Под гору они мчатся на салазках и на лотках, прильнув к ним всем телом; по обледенелой кромке дороги, на которой женщины с коромыслами часто расплескивают воду, они летят на коньках.

Даже кувыркнувшись, ползут на животе все вперед, отталкиваясь по-лягушачьи ногами... А тот, кто вырвется из этой сутолоки, кто удачно минует ухабы у подножия яра — долго скользит по ледяному простору реки, отдыхая в движении, пока не остановится незаметно.

Татьяна Николаевна, остановившись в переулке, воткнула палки в снег, поглубже вдавила лыжи и прислонилась к плетню.

Что-то дрожало около уха, осторожно, по-букашачьи. Словно букашка поползла у нее по шее. Быстро сняв рукавичку, она провела там рукой, а потом усмехнулась.

— Это зимой-то букашки!

Потом догадалась: на палках плетня дрожали тонкие, заскорузлые чешуйки коры. Дрожали оттого, что на них веяло теплом из полуоткрытой двери замшелой баньки, приютившейся тут же за плетнем. Из трубы ее струился и переливался такой же теплый воздух и чуть-чуть колебал

мертвую лебеду на плоской крыше. И было слышно, как шуршит мертвая лебеда.

Отсюда, как на ладони, виден был спуск и ребята, которые там катались. Все ребячьи фигурки казались одинаковыми. Татьяна Николаевна узнавала среди них то одного, то другого, но быстро приходило сомнение: нет, не тот. В двух-трех фигурках была уверена: это из ее третьего класса, и узнала она их потому, что они беспокойнее всех и все норовили столкнуть кого-нибудь под яр. Это у нее такие отчаянные, — два второгодника — Миша Киселев и Аркаша Сомов, а третий — очень способный Витюша Буряков — всегда с ними. Завтра придется поговорить опять. Какой уж раз? Ничего не помогает! Директор школы, на что терпелив старик, и тот безнадежно вздыхает: неуемные! И в самом деле, с ними ничего не сделаешь!

Выдернув из снега палки, Татьяна Николаевна быстро прошла мимо серого двухэтажного дома школы: что бы кто-нибудь не остановил. И в воскресенье там найдется много дел, а ей так хотелось остаться одной, наедине с сегодняшним днем, таким мягким, ласковым, таким ощутимым. Перед тем, как спуститься под гору, она подумала о себе. Уже лет десять прошло с тех пор, как и она вот так же каталась с этой горы. Помнит, как-то попала под ноги хромой Рыжухе, больничной лошади, на которой Гавря возил воду. Помнит блестящие подковы над своим лицом, перекосившуюся оглоблю, Гаврю, повисшего на рыжухиной шее. Гавря чуть было не упал под яр вместе с бочкой, но лошадь сдержал. А она — маленькая, верткая девчушка — успела благополучно выкарабкаться из-под саней. И потом улепетывала вниз, под гору, а Гавря за ней — хотел проучить. Где там: не догнал!

Десять лет... Много это или мало? Никто не знает... Десять лет назад она кувыркалась вот здесь, а еще через десять — даже раньше, через семь — ведь мальчишки бойкие — ее Виктор будет кувыркаться тут. Знает — обязательно будет сынишка.

Осторожно, чтобы не упасть, не споткнуться как-нибудь нечаянно, не потревожить его, Татьяна Николаевна спустилась вниз. Дорога вела на противоположный берег широкой реки. По обочинам снег был уплотнен, словно нитями покрыт бесконечными царапинами, которые оставляли за собой возы с сеном. Очень удобно и приятно было итти на лыжах по такому снегу.

Татьяна Николаевна миновала реку, подошла к опушке леса, оглянулась назад. Ребятишек больше не было видно,

их заслонил бугор, на котором она недавно стояла... Тихо вокруг, только очень возбужденные ребячьи голоса изредка еще доносились сюда. Постояв немного, она двинулась дальше.

Лес окружил незаметно. Сперва молодые мелкие сосенки обступили вокруг, уютные и мохнатые, потом все чаще стали встречаться старые высокие деревья.

Татьяна Николаевна смотрела вверх, смотрела, как все плотнее смыкались над ее головой кроны. И не заметила, когда оказалась в настоящем, таком задумчивом лесу.

Она думала теперь об Алексее.

Он вот тоже сейчас, может быть, идет по мягкому снегу, в лесу. Только в руках у него винтовка, он напряжен, натянут, как струна. На нем, верно, поверх полушубка — белый халат и видны только одни глаза. Может быть Алексей в опасности, ему тяжело. Он гонит тяжесть прочь. Иначе там нельзя, иначе там жалким станешь. А жалкие там — это ничто...

Татьяна Николаевна сейчас вдвоем с большим-большим лесом, и ей хорошо, что они только вдвоем и молчат, и так друг другу близки. Лес—словно двойник Алексея, словно его товарищ. Лучше них никто на свете Алексея не знает и молчаливо они думают о нем... Она подошла к поленице. Поленица вся в снегу и сверху и снизу, только узкая желтая полоска повисла среди белого пуха. Снег, покрывший дрова сверху, казался совсем легким, дунуть — и он улетит. Он провалился между поленьями и правильными квадратами чернеют ячейки там, где дрова были уложены в клетку.

Татьяна Николаевна стояла здесь долго. Думала о семье. В самом деле — у них семья. Витюшки еще нет, а вот она уже полна заботами о нем, каждый погожий день стремится пройтись ради него по реке, по лесу.

И как это она оказалась приспособленной к тому, чтобы быть матерью — самой удивительно. У них семья... Она уже сейчас мать, и это новое всю ее поглощает. Кажется она первая в мире такая, даром что все и всем давным-давно известно. Ничего-то нет на свете нового: все старо, однако же вновь и вновь нужно открыть уже известное, для себя, чтобы сделать его своим. Какое нетерпение охватывает — хочется скорее взглянуть на Витюшку, в первый раз поднять его на руках, запеленать, потом растить, воспитывать. Алексей, конечно по-своему переживает. Воевать ему легче — ради сына. Алексей будет хорошим, хорошим отцом. И Татьяна Николаевна обещает Алексею: она тоже будет настоящей матерью, никогда не придется ее упрекнуть ни в чем!

Ноги у Татьяны Николаевны замерзли, она повернулась, чтобы увидеть лыжню и итти по своему следу обратно.

На опушке, рядом с лыжней, стоял волк.

Он стоял неподвижно и только передней лапой притрагивался к снегу, словно боялся ступить на поляну, сделать еще один шаг.

— Все, — подумала Татьяна Николаевна, — все! Волк их съест.

Подступила тошнота, испуг схватил, сдавил ее. Нужно было успеть о чем-то еще подумать, что может быть помогло бы ей—но поздно, думать она не могла больше, а вот упадет сейчас. И когда волк подойдет к ней — будет лежать, не ощущая ничего. Так легче. Но Татьяна Николаевна все-таки оперлась на палки, сперва на одну, потом на обе, поставив их впереди себя. Ей показалось, что прежде, чем волк начнет терзать ее, он должен оторвать ее от этих палок. Она подумала об Алексее, что вот он ничего не знает и не видит, подумала о ребенке. И не упала. Она душила свой безумный страх, это было чем-то сверх всяких ее сил; чтобы это сделать, ей пришлось поднять себя куда-то высоко над страхом и над собой. Она не дышала и от напряжения зубы все глубже впивались в нижнюю холодную губу, не спуская глаз, не мигая смотрела и смотрела в глаза волку. И воздуха не хватало ей. А волк все еще не решался поставить лапу на снег и сделать шаг вперед. И когда Татьяна Николаевна поняла эту нерешительность, она глубоко вздохнула. Словно ледяная вода заполнила грудь и с ней пришла воля к борьбе. Татьяна Николаевна еще не торжествовала, — все еще была наполнена страхом, — но теперь она знала, что будет бороться — глазами, палками, руками! Она готова была сунуть ему в морду руку, ногу — только бы остановить его, и уйти, унести ребенка!

Она сделала шаг вперед, не спуская глаз с волка. Зверь вздрогнул, быстро прижал ногу к туловищу и так стоял на трех ногах. У него прижались уши, шерсть на загривке зашевелилась, волк тихо зарычал: сперва сморщилась кожа на носу, потом губы задрожали, бородавчатые темно-красные губы приподнялись и обнажилась синяя пасть, — блеснули клыки.

Татьяна Николаевна сделала все-таки еще шаг навстречу волку.

Волк, не переставая рычать, опустил поднятую лапу, но не вперед, а назад. А она опять сделала шаг вперед... А волк назад. И медленно двигаясь вперед, Татьяна Николаев-

на смотрела не мигая на волка, смотрела напряженно, до боли в затылке.

Потом Татьяна Николаевна торопливо бежала лесом по проезжей дороге. В ушах у нее стоял резкий звон.

Она вышла к реке и у самого берега села на корягу, торчавшую из снега. Села и заплакала. О чем — и сама не знала. Плакала долго, обильные слезы освобождали ее от того страшного, что пришлось пережить. Потом... почувствовала, что озябла, озябли ноги, руки и мокрые щеки. Тогда она встала и засмеялась. Негромкий смех приходил откуда-то изнутри все время, пока она шла через реку и поднималась в гору... То ей казалось, что Алексей смотрит сейчас на нее, говорит «глупая!» и тоже смеется, то она сама гладит его по плечу и говорит: «Знаю, как переживают смертный страх!». Потом детские ручонки видела, хлопающие в ладоши... И кажется еще, будто она себя помнит, едва только научившейся хлопать в ладошки и то с помощью бабушки. А едва ли это так: нельзя помнить себя в таком возрасте.

Когда Татьяна Николаевна поднялась в деревню, уже смеркалось. Проходя мимо школы, она сперва остановилась, потом присела на крылечко. После крутого подъема было жарко. Она сняла рукавички, положила их на бревно, торчавшее из стены на уровне ее головы. Поверхность бревна была гладкая — это ребятишки его отполировали, сидя на нем,—а торец — очень шершавый, трещиноватый. Татьяна Николаевна погладила торец рукой, потом прислонилась к нему щекою и оцарапала щеку до крови... Ей даже хотелось этого: просто не могло быть, что из такой передряги она вышла без единой царапины. Ребятишки все еще надрывались на спуске пронзительным визгом.

Что-то было такое, чего Татьяна Николаевна хотела, а чего именно — не знала. Думала, думала, и вдруг стало ясно: ей хотелось, чтобы скорее кончился сегодняшний день. Потому что все равно день уже ничего не мог принести, все уже было, что только могло быть.

Скорее бы наступило завтра, чтобы ей притти в школу, пожурить своих безнадежных Мишу и Аркашу, потрепать их по головам. Неправда — она справится с ними!

Ей очень хотелось в школу, к ребятам, скорее бы наступало завтра! Сегодня она спасла одну жизнь, еще не живую, а завтра займется ими—живыми и непослушными! Скорее бы!

ИМЯ

Исследуй весь мир: поднимися на горы,
Пройди от истоков извилины рек;
Послушай на всех языках разговоры.
И встанет тогда богатырь-человек,

Чье имя, родное, как слово «мама»,
Знакомое людям, как хлеба вкус,
Блещет, как солнце, над всеми морями,
Живет в миллионах сердец и уст!

Пройди километры пожарищ и боя,
Измеряй всю силу, всю злобу врага!
Победы сочти — и опять пред тобою
Того человека — мысль и рука,

Чье имя, известное дедам и детям,
Сверкает на бархате наших знамен,
Как символ бессмертия, веры, победы,
Как меч, что над подлым врагом занесен!

Прислушайся к фразе, с которой герои
Выходят на танки (на десять—один),
Оскал амбразур заслоняют собою, —
И встанет тогда человек-исполин,

Чье радостной песней звенящее имя,
Ведущее нас по дороге побед,
Живущим как воздух необходимо;
Жить будет и славиться
— Тысячи лет!

ДОЛЖНИК

В наступлении под Винницей
подкосил меня снаряд...
Неизвестной сандружинницей
принесен я был в санбат.
Задыхаясь от усилия,
шла она сквозь смертный шквал.
почему ее фамилии
я тогда же не узнал?..
У кого теперь мне справиться —
как спасительницу звать?
По каким путям отправиться
эту девушку искать?
Ей обязан я не мелочью,
и в долгу быть не хочу!
Чем теперь услугу девичью —
долг за жизнь — я оплачу?!

НЕ ГРУСТИ!

Не грусти, мой окопный сосед,
Победителю грусть ни к чему!..
Грусть в походе — помеха побед,
Немощь телу, отрава уму...

Не грусти, что далеко наш дом,
Дальше дом — значит, меньше итти,
Значит, скоро к победе придем,
Значит, к дому короче пути!

Не беда, что мы в пекле боев
Наши лучшие годы сожгли...
Я пожертвовать жизнью готов,
Ради счастия русской земли!

Ободрись! Вот утихнет война,
Лаской встретит нас родина-мать.
Там, с родными, за чаркой вина
Станем мы о боях вспоминать.

Как мы шли через пламя и дым,
Как хлестал нас горячий свинец,
И за час становился седым
Девятнадцатилетний боец...

Как ходили по вражьим тылам,
Как в боях не жалели штыка,
Как делили сухарь пополам
И последнюю горсть табака...

Ободрись! Нет удачи тому,
Кто в походе душою обмяк!
Лучше дай я тебя обниму,
Нам ведь скоро в атаку, земляк!

ТВОЯ УЛЫБКА

Во власти фронтовых тревог,
В сырой землянке и в бою,
Я как сокровище берег
Улыбку теплую твою...
Надеждой близкою богат,
Я нес ее в огне войны,
Как скряга носит меж заплат
Бриллиант неслыханной цены.
И тем, что я не утонул,
Плывя через поток в шугу,
И тем, что насмерть не заснул,
Ночуя без костра в снегу,
И тем, что я под минный вой,
Под свистом пуль, во мгле ночей
Иду, до сей поры — живой, —
Обязан я любви твоей!..
Еще не раз пойду я в бой!
Но жить я буду все равно!
Тем, кто любим, как я тобой,
В бою упасть — не суждено!..

МЕДВЕДЬ НА ПЕРЕПРАВЕ

(БАСНЯ)

К медведю на речной паром
Еж притащился с узелком
(известно: у ежа какое там добришко!)
И стал просить, чтобы паромщик Мишка
Его за речку перевез.

Просил до хрипоты, до слез,
Но Мишенька ежа едва не в шею гонит:

То говорит, что у ежа
Такая прорва багажа,

Что если погрузить, так и паром потонет.
То говорит, пришел закон такой,
Что расселяться за рекой

Теперь уже не всем зверям доступно!
А нарушать закон преступно!
То Мишеньке паром надо чинить,

То праздник подойдет, то непогода,
То просит он ежа повременить...
Так еж прожил на берегу полгода.

Тут, вспомнив случаем про лисаньку-куму,
Страдалец-еж пошел к ней за советом.
Больших трудов себе не видя в этом,

Лиса ответила ему:
— На сей паром, без меда,
Ни для кого нет входа!

Назавтра еж, спеша к парому снова,
Паромщику горшочек меда нес.
И этот же медведь, без слова,
Его за речку — перевез!

МИХАИЛ БУДАРИН

ХЛЕБ

Порывистый ветер гнал вдоль просеки снежную пыль. От его дуновения, точно живые, стлались снежинки, ссыпаясь с волнистых гребней. Сначала сугробы курились легкой дымкой. Потом сизые столбы взвихрившегося снега стали разрастаться, поднимаясь к небу. Титов на ходу открыл дверцу кабины и увидел, что над лесом, померкнув, нависли клочья туч.

У развилка дорог шофер на миг сбавил скорость. Вправо уходила лесная дорога, которая вела в небольшую деревушку Грачи. Туда и решил проскочить Титов, пока буран не настиг его на пути в город. Его удерживала только мысль о том, что на дороге встретится топкое болото. Шофер подумал, что теперь, наверное, он сможет проехать по болотной гати, скованной льдом. И машина свернула направо.

Вначале дорога через мерзлую топь была ровной и твердой, как гудрон. Но в центре трясины, где осока стеной окаймляла дорогу, стали попадаться выбоины. На одном из таких ухабов, заваленном сухим камышом, машина резко содрогнулась и стала, уткнувшись колесом в мерзлую кочку. Титов выскочил наземь и увидел, что машина, накренившись вправо, завязла в глубокой рытвине. Он хотел еще убедиться, крепко ли сидит запасное колесо, и нырнул под кузов. Из-под замшелой земли, припорошенной снегом, проступила ржавая болотная вода. Шофер поспешно вскочил и увидел, что валенки и полы полушубка тотчас покрылись коркой льда. С минуту Титов стоял, беззвучно шевеля губами.

«Попал Титов в кулики...» — мрачно усмехнулся он. Шофер достал из кармана спички и увидел, что коробка намокла и обледенела.

От резкого толчка часть пшеницы просыпалась из кузова на снег. Когда Титов откидывал брезент с борта, он вдруг почувствовал острую боль в запястье левой руки. Вгорячах шофер не заметил, что ободрал до крови о твердый снежный

наст мертвенно бледную кожу, еще не загрубевшую после ранения. Он достал из кузова пустой мешок, лопату и, разостлав мешковину, стал сгребать на нее зерно.

Перед сумерками начался снегопад, и Титов с опасением подумал, что снег засыплет пшеницу. Он мог работать только одной рукой. Но скоро кисть руки устала держать скользкое древко лопаты. Тогда он бросил лопату и пальцами, как граблями, стал поспешно сгребать зерно.

Стемнело. Титов отогнул воротник полушубка и сел в кабину. Ночь показалась ему бесконечно длинной. Когда холод, пробираясь под одежду, словно обручем, сковывал тупой ноющей болью ноги и руки, тягостное оцепенение и безразличие охватывало его. «Не задремать бы, не застынуть...» — как о чем-то постороннем думал он.

Усилием воли шофер заставил себя выйти из кабины и сказал вполголоса с укором: «Раскис, Титов?! Ты же «ЗИС» водил по Ладожскому льду в сорокаградусную стужу!»

Казалось, лес звенел, колеблемый морозным ветром. Чтобы согреться, Титов стал шагать по узкой полоске еле намеченной дороги. Хорошо бы итти по этой дороге в деревню, хоть бы на минутку в тепло!.. Он представил себе эту лесную деревушку с березовой грачиной рощей. Какая-то непреодолимая сила влекла его к теплу, он даже видел перед собой избы и дым, вьющийся к сине-зеленому небу... Чтобы избавиться от этого видения, шофер вернулся в кабину и закрыл глаза в полудремоте. По тайге перекатывался ровный шум, глухой и низкий, как гудение тетивы. Он напомнил Титову другой, приглушенный рокот. Почудилось шоферу, будто идет к его машине, грозя спикировать, бомбардировщик... Очнувшись от дремотного оцепенения, он оглянулся и увидел, что лежит, уткнув в колени холодные, негнущиеся руки. В сиреневой дымке тумана лишь сосны обступали его плотным сомкнутым строем.

Мглистый рассвет пришел на смену ночи, а на лесной дороге еще никто не показывался. Титов решил отправиться в деревню. Он пошел, поминутно оглядываясь. Смутно темнел сзади силуэт машины, затканный кружевом снегопада. Закрыв лицо от режущего снега, шофер шел, нащупывая ногами твердую колею дороги. А ветер, леденящий, обжигающий, хлестал навстречу ему снежной порошей.

Внезапно Титов остановился. Мысль, острая, как нож, полоснула его сознание. Он вспомнил: на Ладожской ледяной дороге его мяло воздушной волной, засыпало осколками льда и выбрасывало полумертвого из кабины. Бомбы дроби-

ли лед. И, развернувшись, холодная, дымящаяся пучина грозила поглотить его с машиной. Но он не бросил тогда свой «ЗИС», груженный хлебом...

Словно два голоса внушали ему. «Погибнешь, уходи! Ведь глупо замерзнуть вблизи от дома, вернувшись с фронта живым!» — убеждал один голос. «Ты бросил зерно? — спрашивал другой. — А не ты ли, Титов, возил хлеб осажденному Ленинграду? Разве ты не знаешь цену хлеба, не жил на скудном пайке блокады и не испытывал сам острое, мучительное ощущение голода?!» И, резко повернувшись, шофер торопливо побежал назад. Машина стояла так же одиноко, только пурга намела у задних колес два островерхих сугроба.

Потом он сидел, запыхавшийся, взволнованный, на подножке и обдумывал свое положение. Титов смотрел тоскливо на свои распухшие, почерневшие руки, все больше убеждаясь, что теперь надолго застрял в лесу. И еще он подумал с досадой, что машина задержалась на сутки и что насмешливый диспетчер Филков, верно, скажет при встрече: «На мерзлом болоте застрял. Тоже водитель!»

Отдохнув. Титов поднялся и пошел, вяло и безразлично продавливая ногами нетронутую целину снегов. Он долго бродил между старыми мшистыми пнями и, возвращаясь, нес охапку хвороста. Шофер достал из-под сидения топор и стал дробить зачугуневшие кочки, стиснувшие колеса машины. Несколько часов подряд он яростно врубался в мерзлую топь, устилая валежником подъем из болота. Когда пальцы, онемевшие от усталости и боли, не повиновались больше ему, он растирал их снегом, жестким и колючим от мороза, и засовывал за пазуху. Это был нечеловеческий труд. Но все-таки к исходу дня он соорудил гать и освободил из рытвины машину.

Диспетчер встретил его язвительным замечанием: «Отряд с планом запарился, а ты работаешь вразвалку!»

— Ты бы сам побарахтался, как куропатка, сутки в снегу, — коротко возразил шофер и прошел в кабинет начальника. Глядя строго на шофера, начальник спросил:

— Где ты пропадал? По всему тракту искали.

С минуту шофер молчал. Он хотел рассказать, какой трудной была эта ночь. Но лицо начальника оставалось суровым, и тон его не допускал оправданий. И шофер только ответил глухо:

— Замешкался я в пути, товарищ начальник.

Пока брали на пробу зерно, он моментально заснул в ди-

спетчерской, даже не расстегнув обледеневший полушубок. Титов не слышал, как в комнату вошел начальник и, наклоняясь над ним, сказал вполголоса диспетчеру:

— Намаялся парень, даже осунулся и почернел... Полагалось бы ему отдохнуть,— раздумчиво добавил он. — Да не можем мы стоять. Ты, Филков, дай ему отдых до... до утра.

Потом шофер стоял у дверцы кабины и рассеянно смотрел, как разгружают его машину. Из кузова с легким шорохом посыпалась пшеница, отливающая желтизной. И, увидев этот поток хлеба, Титов вдруг почувствовал неизъяснимую радость. Ведь это он привез столько хлеба за полтораста километров!

Он знал, что завтра в тайге ему тоже будет холодно и что впереди еще много долгих морозных ночей, и они, эти ночи, будут тяжелыми. И было ему немного грустно: от горечи, обидного недоразумения. Но сознание того, что он привез хлеб наперекор всем трудностям, радовало и волновало его.

ВЛАДИМИР БУХАРЦЕВ

ДОРОГА

Тяжел солдата ратный труд!
Далекий путь, — а отдых краток.
Дороги дальние ведут
Его в места боев и схваток.
Седая пыль на ковылях...
В морщинах лба — крупинки пота,
Но вдаль ведет широкий шлях:
Жара... усталость... пить охота.
Зашел на отдых в хуторок,
Под тенью вишен у криницы,
Травою пыль смахнувши с ног,
Прохладной выпил он водицы.
Его просили отдохнуть,
Поспать часок, покушать малость,
Но он собрался снова в путь,
Переборов в себе усталость.
Поправив ранец на плечах,
Вздохнул, — и вновь походкой строгой
Он на широкий вышел шлях
И зашагал своей дорогой.
Ушел и скрылся он вдали
(Далек был путь, — а отдых краток),
Его дороги пролегли
Туда — в места последних схваток.
Но после ратного труда
Наступит отдых и солдату:
Дорогой той, что шел сюда,
Вернется он в родную хату...

РЕГУЛИРОВЩИЦА

Пунцовые губы, глаза голубые,
И алый в руке у Галины флажок.
Орудия, танки, машины штабные —
Стальною лавиной несется поток.

На запад флажок твой указывал строго
На запад, на запад — был путь их один,
И летней, и зимней суровой дорогой,
От Волги широкой в далекий Берлин...

Смеются глаза голубые Галины —
Сегодня с улыбкой задорной она
Флажками командует в самом Берлине —
Советских побед наступила весна.

Апрель 1945 г.

В. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

ОМАР ХАЙЯМ И ЕГО „ЧЕТВЕРОСТИШИЯ"

Иранская литература классического периода, то-есть X-XV вв., дала много замечательных поэтов. Некоторые из них, как Хафиз, Саади, Фердоуси, Низами, Джами, Джелаль-эд-Дин-Руми — поэты мирового значения. Но самым известным в Европе и Америке (а благодаря появившимся в последние годы изданиям на русском языке, — и в нашей стране) стало имя Омара Хайяма, творца так называемых «Четверостиший» или, употребляя персидское слово, — «Робайят», то-есть, коротких стихов, в которых есть сжатость эпиграммы и мелодичность лирической песни. На родине Хайяма, в Иране, его «Четверостишия» приобрели даже особую популярность, давно уже выйдя из переплетов книг на широкие просторы фольклора. Фрагменты их можно узнать в народных пословицах и поговорках, а некоторые из них вошли в состав народных песен.

К сожалению, из той далекой эпохи до нас дошли очень скудные сведения о самом Омаре Хайяме. Несмотря на многолетние усилия филологов, до сих пор найдено только несколько биографических документов, по которым можно сделать лишь очень общий силуэтный набросок этой фигуры. Нам известно, что Омар Хайям родился около 1040 г. в Нишапуре (город в Хорасане, северо-восточной провинции Ирана) и умер там же в 1123 г.; что он был одним из крупнейших ученых-энциклопедистов той эпохи; что он оставил ряд больших сочинений по математике, астрономии, естествознанию и философии; и, наконец, что Омар Хайям, не будучи, повидимому, профессиональным поэтом, любил время от времени излагать свои мысли и настроения в поэтической форме, создавая, как говорится в одном древнем иранском сочинении, «свои несравненные стихи, обнаруживающие его тайные помыслы, несмотря на скрытность его».

Об этих «тайных помыслах» написана огромная литература, поражающая своими противоречиями. Одни считают Ома-

ра Хайяма великим материалистом, вольнодумцем и безбожником, другие — столь же великим идеалистом, мистиком и почти святым; одни — безрадостным скептиком, другие — пылким жизнелюбцем и проповедником радости жизни; его называли восточным Вольтером, Гейне, Байроном, Софоклом, Горацием, Лукрецием, Эпикуром и т. д. и т. д. При чтении «Четверостиший» естественно, конечно, принять ту или иную точку зрения и сделать те или иные выводы, но нужно все-же иметь в виду, что, по уже тысячелетней традиции, иранские поэты всегда облекают свои мысли в одеяния типично-восточных образов и поэтических фигур, которые нельзя понимать буквально. Так, в частности, слова «Вино», «Виноградный сок», «Виноградная лоза» и т. п., «Кувшин», «Чаша», «Золото» часто обозначают жизнь, радости жизни, экстаз, духовное опьянение и т. п. Почти в каждый из основных образов стиха иранский поэт обычно вкладывает какой-то иной, не буквальный, но более широкий и углубленный смысл. Все это нужно иметь в виду особенно при чтении иранских поэтов классической эпохи, которые все находились во власти суфийских, то-есть мусульманско-мистических настроений.

В отношении Омара Хайяма нужно, кроме этого, иметь в виду, что его «Четверостишия» дошли до нас в более поздних списках и содержат бесчисленные искажения, добавления из других иранских и арабских поэтов, разночтения и т. п. «Выделение настоящего золота поэзии Омара Хайяма из груды этого сплава», по выражению английского ориенталиста проф. Р. Никольсона, — одна из интереснейших, но пока еще не решенных задач иранской филологии, над которой по разному работали многие западно-европейские и русские ученые ориенталисты и переводчики уже в течение столетия. Одним из решений этой задачи была переработка или, точнее, воссоздание персидских «Робайят» Омара Хайяма английским поэтом — переводчиком Эд. Фитцджеральдом (1809-1883 г.г.). На основе трех старых списков «Робайят» он составил свой сборник из 101 четверостишия, расположенных в виде единой стройной поэмы. «Четверостишия» Фитцджеральда — очень свободное переложение, а не перевод в обычном смысле этого слова. Это — не фотографический снимок Омара Хайяма, но портрет, писанный рукой гениального художника. По единодушному мнению всех исследователей Хайяма, никакие другие самые точные переводчики не раскрыли сущность поэзии Хайяма с такой правдивостью и красотой, как это сделал Фитцджеральд. Его перевод, появившийся в 1859 г., стал классическим и оказал огромное влия-

ние на всех последующих переводчиков. Но, независимо от этого, «Четверостишия» Э. Фитцджеральда-Омара Хайяма признаны одним из прекраснейших созданий поэтического гения Англии и вошли в сокровищницу ее литературы, как большая самодовлеющая художественная ценность. Именно благодаря Фитцджеральду возник весь интерес к Омару Хайяму, и он стал, как уже отмечалось, самым популярным в Европе иранским поэтом. Поэма Фитцджеральда в течение 86 лет выдержала бесчисленные издания и была переведена на многие европейские и даже восточные языки. Благодаря Фитцджеральду также возникла обширная, трудно измеримая литература об Омаре Хайяме и его «Робайят», содержащая много тысяч статей и книг, для простого перечисления названий которых, по словам акад. А. Крымского, потребовалось бы свыше 200 страниц библиотечного каталога.

Интерес к Омару Хайяму в дореволюционной России был очень ограниченным. Можно было бы отметить только несколько небольших статей, из которых самой значительной была работа проф. В. Жуковского «Омар Хайям и странствующие четверостишия» (1897 г.), оказавшая большое влияние на европейских исследователей. После Октябрьской революции этот давний пробел в русской литературе был заполнен переводами персидских «Робайят» на русский и украинский языки О. Румера, В. Тардова, К. Чайкина, С. Кашеварова, Л. Некоры, А. Крымского и др., изданными в виде отдельных книг и в разных академических сборниках, а также единственным пока переводом английской поэмы Фитцджеральда, сделанным О. Румером еще в 1922 г. Наряду с этими переводами появились новые исследования поэтико-философского наследия Омара Хайяма наших советских иранистов и переводчиков А. Болотникова, П. Лозиева, С. Кашеварова и др., которые по-новому осветили фигуру этого древнего иранского поэта и философа, но, конечно, еще далеко не исчерпали эту тему.

Эта статья и печатаемые ниже 35 четверостиший являются фрагментами большой работы автора о «Четверостишиях Омара Хайяма, изданных Э. Фитцджеральдом».

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

(ПЕРЕВОД В. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТА)

1

О, Друг, проснись! Взгляни, как Солнце рано
Спугнуло Звезды с их Ночного Стана,
И вслед за ними Ночь гоня с Небес,
Лучами золотит Дворец Султана.

7

Идем! Наполним Чашу и в Огонь Весны
Мы сбросим Зимних Покаяний Пелены.
Спеши! Ведь Время — птица: вмиг вспорхнет она, —
И Крылья Птицы снова в даль устремлены.

8

Пусть в Нишапуре, в Вавилоне — все равно.
Пусть Горечь или Сладость нам испить дано, —
Взгляни: один, другой — роняет Листья Жизнь,
За каплей капля — Жизни капает Вино.

12

Идем же, Друг мой! Вот — Стихи, Кувшин Вина,
Да Ломоть Хлеба нам — и Ты со мной одна,
Под тенью здесь мне Песнь Любви в Пустыне спой, —
И Раем несказанным станет мне она.

13

Одним Мирская Слава кажется желанной,
Других влечет Пророков Рай Обетованный:

Наличное бери, обещанное — брось,
И издали не внемли Дроби Барабанной.

15

Того, кто скупо Золото все дни копил,
И тех, кто по ветру им дерзостно сорил,—
Похоронив, не станут равно прах искать,
Как златоносный Клад, среди пустых могил.

16

Мечты, что в этом Мире сладко манят нас,
Лишь тлеют не горя — иль вспыхнут, но тотчас:
Как Снег, упавший в Пыль Пустыни вдруг,—
Сверкнут на краткий срок, и свет давно погас.

17

Подумай: в Каравансарае обветшалом,
Где вечной смены Дня и Ночи — два Портала,
Султаны друг за другом в блеске славы
Пробыли свой Урочный Час, и их не стало.

21

Любовь моя! Наполни Чашу: в ней — забвенье
Минувшей Грусти и грядущих Опасений.
Ах — Завтра! Завтра мне итти Путем Вчера
Планет семитысячелетнего движенья!

22

О, сколько милых — тех, кто нами был любим:
Из Гроздей Виноградных Времени — отжим,
Испили Чашу Круговую раз иль два
И молча отошли один вслед за другим!

23

И мы, заняв места в Кругу Веселом
В то Лето с праздничным убором новым,—
Должны мы тоже под Покров Земли сойти
И для кого-то сами стать покровом.

25

Кто в мысли о Сегодня погружен, и вам,
Кто преданы о Завтра сладостным мечтам,—
Во Мраке с Минарета Муэдзин кричит:
«Глупцы! Глупцы! Награды нет ни здесь, ни там».

26

Святые все и Мудрецы, кто над Судьбой
Миров обоих думал, брошены Толпой,
Как лживые Пророки. Презрены Слова,
И скованы навеки их уста землей.

27

Я помню: в юности не раз я посетил
Ученых и Святых и с жадностью следил
За спором их — о том иль этом, — но назад
Все той же дверью шел, в которую входил.

28

У них я Мудрость взял и нежно Семена
Взрастил своей рукой. Но истина одна: —
«Ты, как Вода, пришел; как Ветер, ты уйдешь» —
Вот скудные Плоды, что дала мне она.

31

С Земли через Врата Седьмые смог я в высь
На Трон серебряный Сатурна вознестись
И много тайн в пути узнал: не мог одной
Узнать Судьбы людей, где Тайны все сошлись.

35

Но вот к краям Кувшина жадно я прильнул,
Чтоб Тайну Жизни в нем найти. И что ж? — шепнул
Кувшин убогий: «Пей Вино, пока ты жив:
Не встанет больше тот, кто Вечным Сном уснул».

36

Я думаю: Сосуд, который смог сказать
Невнятно те слова, когда-то жил. Как знать?

Не Губы ль вместо Глины я поцеловал,
И сколько Губ дано им было целовать!

37

И помню, что однажды, подойдя поближе
К Гончарне, где топтали Глину, я услышал,
Как, свой язык размякший еле шевеля,
Пробормотала Глина: «Тише, брат мой, тише».

40

Взгляни: в Саду Тюльпан встает от сна с зарей
И к Небу тянется за утренней Росой
И жадно пьет Вино.—Так пей и ты, пока
Тебя не кинет Небо, как Сосуд пустой.

46

О, Друг, не бойся ты, что Жизнь, закрыв наш Счет
Никак тебе и мне подобных не найдет:
Из Чаши Вечный Саки выплеснул не раз
Таких мильоны Пузырей и вновь плеснет.

47

Пусть сдвинется Завеса, чтобы нас сокрыть, —
Ведь Мир и после долго, долго будет жить,
А наш Приход сюда и наш Уход должны ль
Как море камень брошенный, Его взмутить?

48

На Миг один — Привал: мгновенная сладка —
О, Жизнь! — в Пустыне знойной Влага Родника.
Спеши! Уж Караван прибыл из Небытья
И в Небытье исчез — как Призрак в Мгле Песка

49

И если ты весь Блеск Существованья
За Тайну дашь, — отдай без колебанья.
Лишь Волос отделяет Истину и Ложь.
Так в чем же, Друг мой, Тайна Мирозданья?

54

Не трать же дней на мудрые усилья
В бесплодных спорах искусить Бессилье
И, сладкий Плод Лозы познав, забудь Печаль,
Что нет Плодов иль горьких изобилье.

57

«Постой!—Твои Счисленья», — люди говорят, —
«Нам дали Счет Времен». — О, нет! С Календаря
Я только вычеркнул два лишних дня:—
Неведомое Завтра, невозвратное Вчера.

62

Мне говорят: «Не пей Живительный Бальзам,
Поверь и бойся Страшного Суда, Хайям!»
Надеждой тешься: Кубок, ставший прахом здесь,
Тебе иным Вином наполнит Небо там.

63

К чему Угрозы Адом иль Мечты о Рае?
Увы! Одно лишь верно: птицей улетая,
Исчезнет Жизнь. — Одно! и все другое — ложь:
Цветок лишь раз цветет, навеки увядая!

66

Послал я Душу в Мир Незримый, где она
Могла б прочесть Посмертной Жизни Письмена.
И вот вернулась наконец Душа и мне
Ответ шепнула: «Я — и Рай и Ад сама».

67

Запомни: Рай — лишь образ сбывшихся Желаний
И ад — лишь Тень Души, сжигаемой Страданьем,
Отброшенная в Мрак, в который сами мы,
Придя оттуда поздно, в час уходим ранний.

73

О, стоит ли, друзья, в Слепом Ничто искать
Всевидящее Нечто, должное карать

Нас злом Запрета Наслаждений, и за них
Все Муки Вечные ослушникам послать?

79

Неужли суждено беспомощным Рабам
Червонным Золотом вернуть негодный Хлам,
Иль за Грехи, в которых не повинны мы,
Тяжбу безчестную с Тобой затеять там?

97

О, если бы в Пустынной Мгле хотя на миг
Увидеть — смутно, но воистину — Родник:
Как стебель смятый, влагой возрожденный,
К нему бы Путник изнуренный весь приник!

98

О, если бы Крылатый Ангел мог до Срока
Взглянуть в пока еще раскрытый Свиток Рока,
Чтоб Строгий Летописец иначе вписал
Иль вовсе стер свои мучительные Строки!

99

Ах, Друг мой! Если б вместе с Ним найти Познанье
Неведомой печальной Тайны Мирозданья,—
Мы все сломали б, — чтобы заново создать
Иной и лучший Мир — по нашему Желанью!

ИЗ ШЕКСПИРА

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Вей, зимний ветер, вой,
Ты хоть ни есть какой,
А не черней людской
Неблагодарности!

Мети, вьюга, мети,
С ночных небес лети,
Перемети пути!

Вей, ветер, вей.
Какой ни есть злодей —
Не злее ты людей,
Не злей и не черствей!

Вей, ветер, вей!
Кусай по слепоте,
Хоть и подобен волку,
Но все ж не злей, чем те,
И все ж не столь остро,
Чем те, кто втихомолку
Злом платят за добро!

Вей, зимний ветер, вей!
Ты горбишь лоно вод,
Их превращаешь в лед,
Но все ж ты не подлей,
И не страшней, чем тот,
Кто друга предает,
Кто друга продает,
Вей, ветер, вей!

ИЗ ТЕННИСОНА

ВЕТЕР СЛАДОСТНЫЙ И СВЕЖИЙ

Ветер этих побережий
Западный, морской,
Веет сладостный и свежий
Западный, морской.
Тихо веет, нежно веет, за одно дышать умеет
Он с луною, и с волною, и с тобою, и со мной,
Чтобы мальчик мал, сын наш задремал.

Веет Вест, веет Вест.
Всюду и везде—
Возле волн и между звезд,
Всюду и везде.

По морской воде ты корабль веди, к берегу иди.
Спит птенец у нас в гнезде на моей груди.
Дома дрема и покой
Тишина у нас.
Возвращайся же домой,
Тишина у нас!
Под серебряной луной, над серебряной волной
Серебрится парус твой в этот час.

В этот час веди баркас,
Чтобы в этот час сын наш, мальчик мал,
сладко бы дремал.

ИН. ШУХОВ

КАРТИНЫ СТАРОГО ОМСКА

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

ЦЕНТР

Городской голова Остапенко в 1896 году поехал на всемирную выставку в Париж. Там он увидел в качестве экспоната железный мост. До этого в Омске через реку Омь существовал один деревянный мост. Городская дума приобрела за 85 тысяч рублей этот французский мост. Сибирские инженеры переделали его. Он стал разводным и пропускал суда на зимовку к деревянному мосту, тогда понтонному, просуществовавшему до 1898 года.

Так омичи получили французский мост.

Перейдя с левого берега Оми на правый, мы попадали на главную улицу Омска — на Любинский проспект, (ныне ул. Ленина). Справа постройки сохранились до сих пор почти те же, что были 40 лет назад. Слева резко все изменилось. Здесь была тогда березовая роща. Она начиналась сразу у моста и называлась Любиной рощей. Здесь было место гуляний омичей в праздничные дни. В начале 1900-х годов рощу вырубили и началось строительство. Первыми выросли торговые корпуса Саввы Морозова и компании, затем здания Жирардовских мануфактур, несколько позже «Братья Овсянниковы и Ганьшины» построили универсальный магазин — ныне Омский Медицинский институт. Любина роща была снесена. Лишь от моста до теперешней ТЭЦ по берегу Оми тянулись заросли старых ив и других деревьев. Этот уголок носил название Малашкиной или Марьиной рощи. Позднее, частично вырубленная и с уменьшенной площадью, роща была благоустроена и стала называться «Детским садом». После 1908 года здесь построили кино-театр «Гигант», а сад переименовали в «Аквариум».

Против западного края рощи находился деревянный театр — цирк Сичкарева, существовавший до мая 1909 года.

Любинский проспект выходил на базарную площадь. Слева ее ограничивали здания Омской женской гимназии и «Красные казармы». (Нового театра тогда не было, его открыли в 1905 году). На севере и востоке площади были здания интендантства, а от них к югу шел спуск «Сенной взвоз». На площади находились обжорный и мясные ряды, имевшие специальные постройки. Позднее были выстроены и торговые корпуса. В 1913 году закончено постройкой каменное здание торговой биржи (ныне Автодорожный институт). От базарной площади на север шла Скорбященская улица (ныне ул. Гусарова) и параллельно ей — Бутырская улица.

БУТЫРКИ

Всю северную часть города прорезывала главная улица Бутырская (ныне ул. Герцена). Она выходила на тракт, по которому в Тобольскую каторжную тюрьму гнали арестантов из московских Бутырок. Соседняя улица Скорбященская — улица скорби, — называлась так потому, что здесь проходили многие несчастные люди: каторжники, ссыльные, заключенные.

Застроившись, эта часть города получила название Бутырского форштадта, а омичи ее назвали «Бутырками».

На Бутырках проживали мелкие торговцы, лавочники, мещане, домовладельцы. Последние сдавали дома служащим, занимались извозом, имели запмки. На окраине жили кузнецы, мастеровые, немногочисленные рабочие.

После осенних дождей улицы становились непроезжими. Бывало завязнет телега с кладью на Скорбященской улице, кладь снимут, лошадь выпрягут, а телегу откопают лопатами, когда грязь подсохнет.

Летний полдень. Над Бутырками в поднебесьи летают стайки голубей. На крыше дома стоит человек. Большую черную бороду развевает ветер и играет длинными полами форменного расстегнутого сюртука. Заложив два пальца в рот, человек свистит и смотрит в небо, а другой некстово машет тряпкой на длинном шесте... Это пристав Бутырского полицейского участка Чирков забавляется голубиной охотой. У дома, где помещается участок, стоят городовые, мальчишки. По соседству на гребне высокого сарая-голубятни подражает Чиркову 60-летний старик Южаков. «Из ума выжил» — говорят прохожие обыватели.

На рождество утром и вечером Чирков разъезжает по Бутыркам на легких санках и ловит мальчишек — «христославцев» с красными звездами, забирая и звезды и «выручку».

На пасхальной неделе на улицах устраивались качели, слышались звуки гармошки. Парни около домов катали яйца. После пасхи справляли свадьбы. Они сопровождались обрядами, тогда присущими всем сибирякам-старожилам. Нередко можно было видеть ехавших рысью по улице одну или две телеги. На них стояли и пели, приплясывая, женщины с банными вениками, украшенными лентами. Это везли из бани невесту. Из церкви уже ехал целый свадебный поезд часто из 10-15 экипажей.

Странный вид на Бутырках иногда имела и похоронная процессия, двигавшаяся на Шепелевское кладбище. В большом мешке из сетки на крышке гроба, которую несли четыре человека, сидели голуби. Когда гроб опускали в яму, ближайшие друзья покойного бросали голубей из сетки в могилу. Они взлетали снова вверх и улетали в голубятню покойного. Так хоронили голубятников, которых на Бутырках в те времена было великое множество. Такие похороны голубятника я наблюдал еще в 1939 году.

Так жили Бутырки в прошлом.

Теперь на Бутырках заводы.

КАЧАГУРЫ

После постройки военного госпиталя, на правом высоком берегу Оми начала вырастать новая улица. Она южным концом упиралась в забор большого госпитального сада, поэтому ее назвали «Госпитальной». Ссыльные поляки присвоили этой улице свое название — Качагуры, что значит «Утиные горы». Поводом к такому наименованию послужило то обстоятельство, что с левого берега, в те времена сильно заболоченного, на правый, возвышенный, летали дикие утки.

Поляков не стало, но старожилы помнят это название, сделавшееся потом ругательным словом. «Ах, ты, качагурница!»—ругались торговки. «А вы с Госпитальной!» — говорила своей сопернице полуинтеллигентная мещаночка. Те и другие этими словами старались оскорбить друг друга.

Многие улицы Омска теперь переименованы, а Госпитальная осталась. Не изменив своего названия, улица резко изменила свой быт и облик. Начиная с 80-х годов Госпитальная жила своей особенной жизнью. Днем она была тихая, почти безлюдная. Только наблюдательный человек мог заметить некоторые особенности. На дверях подъездов домов были «глазки» — круглые отверстия для наблюдения за улицей, у крылец стояли два невысоких столба для фонарей. И лишь наступал поздний вечер — улица преображалась. Она ярче освещалась, чем даже Любинский проспект, и напоминала железнодорожный перрон. У каждого подъезда зажигались фонари, из окон сквозь щели ставень на улицу пробивались лучи света. К домам подъезжали извозчики, приходили люди. Внутри гремели разбитые пианино, пиликали гармошки и слышались пьяные голоса. Здесь находились публичные дома.

Качагуры славились еще кулачными боями на льду Оми, драками и скандалами. По воскресным дням, на святках и масленице на Оми сходились два враждовавших лагеря: Качагуры и Лугаши. Последние были жителями левого лугового берега Оми. Бой завязывался подростками, за ними вступали парни, наконец, наблюдавшие за «полем боя» взрослые мужчины не выдерживали и в качестве подкрепления «шли в атаку». После побоища были раненые и реже убитые. «Жесточайший бой» происходил в 1912 году. Полиция, конная и пешая, оказалась не в силах ликвидировать «Ледовое побоище».

Качагуры — грязная страница в истории старого Омска. Теперь лишь гнилые пеньки от фонарных столбов, да кое-где сохранившиеся «глазки» в дверях напоминают прошлое Госпитальной.

КАЗАЧИЙ ФОРШТАДТ

Казачий форштадт долгое время был центральной частью города. Его население состояло из казаков. Здесь жили преимущественно офицеры, чиновники Сибирского казачьего войска. Поэтому и улицы имели характерные названия: Войсковая, Полковая, Конюшенная, Лагерная. Другие, как Путинцевская, Русиновская, Старковская и Плотниковская, назывались по фамилиям генералов — атаманов отделов казачьего войска. Главная улица Атаманская (ныне ул. Республики) являлась продолжением за мостом Любинского проспекта. По постройкам это был лучший форштадт Омска. Самым старым и большим зданием был Сибирский кадетский корпус, построенный в 1813 году. Затем выделялся дворец степного генерал-губернатора и атамана Сибирского казачьего войска, построенный в 1859 году, занимавший усадьбу с садом теперешнего Областного музея. К югу находилась Казачья площадь. Почти всю центральную часть ее занимал казачий военный собор, в котором до 1918 года хранилось знамя Ермака Тимофеевича — завоевателя Сибири, а также старые знамена Сибирского казачьего войска. Собор был примечателен еще тем, что в нем, в специальном склепе под алтарем, в литом цинковом застекленном гробу находился бальзамированный труп генерал-майора Чирикова, одного из атаманов отдела казачьего войска. Находчивый сторож собора, допуская любопытных в усыпательницу и взимая с них плату, обеспечил себе постоянный доход. Впоследствии, когда собор переделали, случайно обнаруженный склеп был ограблен, а мумию похоронили на Казачьем кладбище.

К востоку от казачьего собора шла улица, называвшаяся Никольским проспектом, по имени Никольского собора (ныне ул. Красных зорь). Она заканчивалась въездом на Казачье кладбище. К северу и югу от кладбища, среди мелких перелесков, стояли мельницы-ветрянки, существовавшие до 1912 года. Восточная окраина (ныне ул. Куйбышева, а ранее Скаковая — вела на ипподром) была населена татарами, реже казахами. Торговые предприятия сосредоточивались на площади Казачьего базара (ныне Казачий рынок). Площадь с тех времен изменилась мало.

Казачий форштадт являлся исключительно местожительством военного казачьего сословия и только после 1905 года стал заселяться разночинцами.

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА

Конец девятидесятых годов. Сентябрьская ночь спускается над Омском. Фонарщики с небольшими лесенками и бачками керосина заправляют и зажигают немногочисленные фонари на углах центральных улиц.

9 часов вечера. Из закрытых наглухо ставнями окон иногда в щели проникает свет керосиновых ламп. Время от времени слышится бой колотушки. Это ночные сторожа дают знать гражданам Омска, что они не спят, а оберегают их мирный сон. У каждого сторожа на поясе висит трещотка. Она пускается в ход, если где-либо в городе случится пожар. К трещотке, поднявшей первой тревогу, присоединяется треск второй, третьей... Через несколько минут на пожарных каланчах города ударяют в набат постовые пожарники. Начинается суматоха.

В 10 часов на улицах можно встретить странные обозы из 3-5 бочек. На первой бочке тускло светит фонарь. На работу выехали «золотари», —так в Сибири зовут ассенизаторов.

До 1905 года Омск с наступлением ночи погружался во мрак. Потом улицы стали освещаться немногочисленными фонарями «Россия», системы Галкина. Эти газо-калильные фонари были сравнительно дороги, требовали больше горючего и квалифицированных фонарщиков. Неудивительно, что «отцы города» старались экономить на освещении за счет лунных ночей.

Появление в Омске электроосвещения относится к 1905—1906 годам. Омская купчиха Мария Шанина устроила первую электростанцию для освещения своего магазина (ныне универмаг) и жилого особняка (теперь вендиспансер). Вскоре была построена электростанция при общественном собрании (ныне Горпарткабинет). Около 1907—1908 гг. городской театр, выстроенный в 1905 году, устроил свою электростанцию.

В 1909 году немец Поль построил небольшую электростанцию с ветряным двигателем. Он уже продавал электроэнергию кадетскому корпусу и немногочисленным частным лицам. В 1910 году кадетский корпус выстроил свою электростанцию. Немногочисленные кино, называвшиеся тогда «кинематографами» или «биографами», также имели свои маленькие электростанции.

Так в Омске появилось электроосвещение.

ДОРОГА К ВЕЛИКОМУ ОКЕАНУ

Железная дорога в Омске была построена сравнительно не так давно. Прошло всего пятьдесят лет с того времени, как в Омск пришел первый поезд. Но попытки связать Азию с Европой железнодорожным путем относятся к гораздо более раннему времени.

Сибирь представлялась западу глухой страной со сказочными богат ствами. В Сибири была дорогая пушнина, лес, ископаемые богатства громадные плодородные земли.

Еще сто лет назад знаменитый генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский поднимал вопрос о строительстве железной дороги между Амуром и заливом Де-Кастри. Этот проект был отклонен. Однако нужды транспорта Сибири назревали и требовали разрешения. С севера по Оби и Иртышу шла пушнина, рыба, кедровые орехи ягоды, лес. С юга самоплавом на досчанниках и плотах поступал хлеб кожи, масло, арбузы, дыни и «верненские» яблоки. С этими товарами приезжали в Омск бухарские купцы.

Еще за пятьдесят лет до того, как царское правительство решило вопрос о постройке Великого Сибирского пути. проблему внутрисибирского транспорта по воде разрешил купец Никита Мизенин. В 1885 году он построил первый пароход «Основа». Теперь с севера в Омск на пароходах прибывали ценные грузы, а отсюда гужом переправлялись на крупнейшие ярмарки Зауралья.

В Главное Управление путей сообщения в то время поступало много предложений о рельсовом пути от «Нижнего Новгорода до Тихого океана». На них отвечали отказом. Наконец, в 1883 году начали прокладку железнодорожного пути от Екатеринбурга (теперь Свердловск) до Тюмени. Через два года по нему пошли первые поезда. Но Западная Сибирь и ее крупнейший центр — Омск остались без железной дороги и гужом продолжали транспортировать свои грузы.

Только в 1890 году было принято решение строить железную дорогу. В 1892 году начались работы по прокладке пути от Челябинска до Омска. Небывалое торжество было в Омске, когда 24 августа 1894 года на левый берег реки Иртыша пришел первый поезд. Здесь теперь станция Куломзино. Но тогдашний паровоз был мало похож на современный. Его труба напоминала кухонный чугун. У паровоза было всего шесть колес. Поезд состоял из десяти классных вагонов. Он был украшен зелеными ветками. Оркестр Сибирского казачьего войска сыграл «Встречный марш». После бесплатного проезда пассажиров для «обкатки пути», в 1895 году дорогу на перегоне Омск — Петропавловск пустили в эксплоатацию. На этом участке ходили два поезда в неделю со средней скоростью одиннадцать верст в час. За год перевезли 211 тысяч пассажиров. В 1896 году перевезли уже 415 тысяч пассажиров, а в 1898 году — 1 млн. 50 тысяч человек.

Первый бык железнодорожного моста через Иртыш был заложен в 1895 году. Строительство моста закончилось к началу 1896 года. Прокладывать же дорогу на восток, от Иртыша до Оби, начали раньше — в 1893 году. С 17 марта 1896 года началось полное движение по Омской железной дороге.

Таким образом был открыт Великий Сибирский путь — дорога к Великому океану. Но и эта дорога окончательно еще не разрешила транспортной проблемы Сибири. Ишим, Тюмень и другие города с богатейшими ярмарками нуждались в железнодорожной связи с центром России. 22 июля 1909 года началась постройка магистрали Омск—Тюмень. В начале 1913 года она была сдана в эксплоатацию. Мост через реку Ишим был построен только одноколейный. Поезд доходил до берега и здесь ждал встречного. Только в 1914 году линия Омск — Тюмень стала работать без перебоев.

Сейчас наша Омская железная дорога одна из самых мощных в Советском Союзе. Непрерывным потоком идут по ней грузы с Востока на Запад и с Запада на Восток.

КАРЛУШКА

25 августа 1894 года на левый берег Иртыша пришел первый поезд в составе десяти пассажирских вагонов. Омск стал оживать — открылся Великий Сибирский путь. Началось строительство вокзала ст. Омск. Около новой станции стали селиться разные люди, рабочие строительства дороги, торговцы. Но земельные участки около вокзала принадлежали казакам. Они-то первыми и заселили выгодные по местоположению наделы. В 1898 году здесь возник «Атаманский» или «Царский» хутор, впоследствии выросший в современный Ленинск.

Четыре версты отделяли ст. Омск и хутор от города. Пустырь, поросший мелким кустарником и бурьяном, буераки делали связь неудобной да и небезопасной. В 1902 — 1903 гг. была проложена так называемая городская ветка. Поезда по ней без остановки курсировали с окраины города до ст. Омск. Там, где сейчас воинская площадка, жил начальник ст. Омск. С некоторых пор у его дома поезда стали делать регулярные остановки. Сын начальника станции Карлуша учился в городской гимназии. Поезд останавливался, чтобы забрать его. Незнающие пассажиры спрашивали:

— Почему остановились?

— Да это Карлушка, — отвечали завсегдатаи.

Так получил название полустанок «Карлушка», сохранившийся до наших дней. Не осталось только на этом месте старого павильона с вывеской.

И. КОРОВКИН

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В этой статье речь будет итти преимущественно о песнях, бытующих и бытовавших в районах Омской области. Но большинство из этих песен поются или пелись по всей Сибири, по всей России.

Песенное богатство Сибири состоит из четырех видов: 1) песен, привезенных сюда переселенцами из России в конце прошлого столетия; 2) песен русских поэтов XIX и XX в. в.; 3) песен, созданных жителями центральных районов России после революции и в дни Великой Отечественной войны; 4) песен, созданных сибиряками.

1

К первому виду относятся такие широко известные и наиболее любимые сибиряками протяжные песни, как «Вы не вейтеся, русые кудри, над моею больной головой», «Зачем я тебя полюбила и душу тебе отдала», «Жили две сестрицы, жили родные», «Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить», «Как на горке калина, под горою малина», «Ах, зачем эта ночь так была хороша» и многие другие. Все перечисленные песни отличаются удивительной красотою и душевностью напева. В районы, прилегающие к Омску, они привезены из Смоленской и Рязанской губерний (ныне областей).

Из песен русских поэтов XIX в. наиболее распространенными в Сибири были песни Пушкина, в первую очередь, «Под вечер осенью ненастной», «Черная шаль», «Узник», «Зимний вечер», «Зимняя дорога»; Лермонтова — «Казачья колыбельная», «Белеет парус одинокий»; Кольцова — «Оседлаю коня», «Не шуми ты, рожь», «Хуторок»; Никитина — «Ехал из ярмарки ухарь купец», «Вырыта заступом яма глубокая», «Песня бобыля»; Некрасова — «Коробейники», «Эх, полным полна коробушка», «Хорошо было детинушке», «В полном разгаре страда деревенская», «Вянет, пропадает молодость моя».

Кроме песен поэтов-классиков, большой популярностью пользовались песни: Хованского — «Я вечор в лугах гуляла», Дмитриева — «Стонет сизый голубочек», Нелединского-Мелецкого — «Выйду ль я на реченьку», Мерзлякова — «Среди долины ровныя», Дельвига — «Не осенний мелкий дождичек», «Соловей, мой соловей» и «Пела, пела пташечка и замолкла»; песни поэтов средины и конца XIX в: Полонского — «Мой костер» и «Затворница», Плещеева — «Я у матушки выросла в холе» Вельтмана — «Что затуманилась зоренька ясная», Садовникова — «Из-за острова на стрежень», Навроцкого — «Утес Стеньки Разина», Горького — «Солнце всходит и заходит», Трефолева — «Песня о комари-

ском мужике» и «Дубинушка», Сурикова — «Доля бедняка» и «Степь моздокская», Разаренова — «Не брани меня, родная», Горохова — «Бывали дни веселые», М. Ожегова — «Меж крутых бережков Волга-речка течет» и «Потеряла я колечко».

В первые годы советской власти и примерно до 1933 — 1935 гг. (до появления песен В. И. Лебедева-Кумача) популярнейшими в Сибири, кроме «Интернационала», «Варшавянки», «Похоронного марша», были песни современных поэтов: Д'Актиля — «Марш Буденного», Алымова — «По долинам и по взгорьям», Асеева — «Конная Буденного», Жарова — «Песня о луганском слесаре», Демьяна Бедного — «Как родная меня мать провожала», Шведова — «Ты, моряк, красив собою», Безыменского — «Молодая гвардия» («Вперед, заре навстречу») и другие.

В 1928 — 1932 гг. в омских школах (как, вероятно, и в других школах Сибири) любимыми песнями были: «Мы дети тех, кто выступал на белые отряды», «Белая армия, черный барон», «Вейтесь кострами, синие ночи» (сл. Жарова).

До песен Лебедева-Кумача фабрично-заводская молодежь, а также вся молодежь северных окраин Омска пела «Кирпичики», «Как у нас под окном расцветала сирень», «Пошли девки на работу». На все лады распевались «Мурка», а с ней и «Маруся отравилась», «Чеснок» и другие. Среди этих убийственно унылых, выматывающих душу, часто похабных песен отраднее было слышать «Раз полоску Маша жала», «За грибами в лес гурьбою девки собрались».

Смешно и грустно вспоминать, как наша здоровая, жизнерадостная молодежь тянула тоскливо «Извела меня кручина, подколодная змея».

Нужны были новые песни.

Их пишет Лебедев-Кумач.

Его «Марш веселых ребят» звучит как гимн новому, радостному, прекрасному времени. Эта песня мигом облетела всю страну. Она была предвестником новых песен. И эти песни появились одна за другой: «Широка страна моя родная», «Жил отважный капитан», «Москва майская», (сл. Лебедева-Кумача), «Каховка» (сл. Светлова), «Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» (сл. Михаила Голодного). Вместо «Сирени» молодежь запела чудесные лирические песни Исаковского — «Провожанье», «Дан приказ», «Катюша», «И кто его знает»; Волжанина — «На рыбалке у реки», «Ох, ты сердце, сердце девичье»; Лебедева-Кумача — «Чайка» и многие другие.

Из песен поэтов Отечественной войны большую популярность в Сибири приобрели песни: Исаковского — «До свиданья, города и хаты», «На позицию девушка провожала бойца»; Лебедева-Кумача — «Вставай, страна огромная»; Суркова — «В землянке», «Песня смелых», а также песни Е. Долматовского — «Моя любимая» и Кравченко — «С далекой я заставы».

Вопрос о том, какие песни созданы сибиряками, где, кем и когда они созданы — вопрос весьма важный, интересный и, к сожалению, мало разработанный.

К таким песням, несомненно, нужно отнести большую часть бытовавших в Сибири свадебных, хороводных, а также тюремных песен. В Сибири созданы: широко известная песня «Катя, Катерина, купеческая дочь» (до сих пор поется в районах, прилегающих к Омску, Тюкалинску, Таре), песни «Поехал мужик на базар»[1] «Кошелек пустой лежит» (поется

---

[1] См. нашу статью в журнале „Омская область“ № 11—12

и сейчас в соседних с г. Тюкалинском районах), «Сызмалешеньки хорошая была», «У нас запили ребята, загуляли молодцы». Получили распространение песни сибирских поэтов П. Ершова — «Уж не цвести цветку в пустыне» и Федорова-Омулевского — «Встань, пройдись со мной, родная».

Приведем одну из названных песен (записана со слов 56-летней жительницы дер. Чащино, Тюкалинского района, Захаровой Аграфены Яковлевны).

У нас запили ребята,
Загуляли молодцы.
Загуляли молодцы,
Все макарьевски купцы.
С горы на гору сходили
Ко цареву кабаку,
Ко цареву кабаку,
К офицеру — чумаку,
У офицера — чумака
Много денег и вина.
Научились водку пить,
В барабаны стали бить.
Барабаны пробивали,
Все указы прочитали,
Все указы прочитали,
Черны шляпы надевали,
Черны шляпы со кистями
Со немецкими скобами.

II

Где и когда пелись те или другие песни?

Давайте, читатель, представим, что перед нами большое сибирское село. Пойдем по широким улицам этого села.

Отчего так празднично нарядилось оно? Улицы выметены, озеленены — у каждой избы кудрявые деревца (сколько окон, столько березок); хороводы из девушек и парней, толпы мужиков и женщин, группы нарядных ребятишек.

Песни, смех, ругань. Звуки гармони, и снова песни, смех, свист. Подойдем к ближнему хороводу. Все разодетые, все в венках из зелени и цветов. Да ведь сегодня воскресенье — первый день Троицы!

Значит, в прошлый четверг был семик. Девушки, украдкой от ребят, группами в 8 — 10 человек уходили в лес вить венки — каждая себе; каждая свой венок замечала: лентой шелковой обвязывала. Девушка «на выданьи» заветный круг заплетала, приговаривая: «Если мне жить — быть здоровой в этом году — распушись, венок, зеленью, если умереть — завянь». У кудрявой березки хлопотала тринадцатилетняя Анютка, с белыми коротенькими косичками, перевязанными голубой ленточкой. Может быть это она, выйдя из лесу пела:

Вон идет, вон идет —
Грудь его белеется.
То ли любит, то ли нет —
Как могу надеяться.
На меня, на молодую,
Славы лей, перелей,
А я выйду в сад зеленый,
Пропою как соловей...[1]

Из соседнего лесочка тоже доносилось:

Мой платочек-вертуночек
На пружинке дуется,
Моя русая коса
Последний год красуется.
Меня маменька будила,
У кровати плакала:
«Вставай, доченька родная,
Я тебя просватала».[2]

Так, вместе с венками и думы свои заветные и припевки свои любимые оставили до первого дня Троицы. А теперь вот, в венках и лентах, с парнями, с гармонью снова собираются в лес.

Сбоку идут две пары недавно повенчавшихся молодых. Заиграла гармонь, девушки запели:

Дали волю любить Колю,
А теперь хотят унять.
Нет, уж Колю дорогого
Вам от сердца не отнять.
Нас, подруженьки, четыре,
А и где же пятая?
Отдаем мы пятую
В семью жить проклятую.
На широкой полосе
Перепела песни все,
Петь я не напелася,
Реветь я наревелася.

Вот и лес. Два парня срубают по березе, девушки обряжают их — одну «невестой». Надевают на нее юбку, кофту, платок, приклеивают бумагу и разрисовывают лицо. «Невеста» готова, а рядом с ней «жених». Поставили «молодых» и уселись вокруг них. Напелись, наплясались.

---

[1] Записаны в Солдатском районе.
[2] Записаны в Любинском районе.

натешились вдоволь и торжественно, с песнями понесли чету «молодых» к реке. А там опять песни, пляски, игры разные.

Пора домой. Поснимали одежду с «молодых» и вместе с венками пустили их в воду. До будущей весны, до новых венков!

Возвратились в село, среди улицы стали в круг, образовали с четырех сторон «ворота» и начали «перевешивать хмель», напевая:

Перевешу, млада, хмель на свою сторонку,
Как на нашей на сторонке есть така удача,
Есть така больша удача — золотые вети.
Золотые вети, серебряны листья.
Я пойду, млада, в сад, в садик, разгуляюсь.
Нащиплю я, млада, хмелю, хмелю зеленого,
Зазову я гостя в гости, гостя дорогого,
Гостя дорогого — батюшку родного.

«Свесив хмель», идут по улице: девушки впереди, парни за ними. Парни напевают:

Пойдемте, девушки, пойдемте красные,
В сыр бор гуляти, калину ломати.
Мы вам, девушки, мы вам, красные, загадаем загадку:
Что это, девушки, что это, красные, выше лесу ходит?

Девушки отгадывают и поют хором:

Ходит там, ходит красное солнце.
— Спасибо вам, девушки, спасибо вам, красные, что отгадали.

Останавливаются у ворот одного дома. Ребята входят в ворота (берут с собой одну девушку — «замуж» за своего «жениха»), закрывают их. Девушки поют у ворот (просятся):

Подойдем мы, подойдем под ваш город каменный,
Растворим, растворим коломанские ворота,
Вышибем, вышибем, чеботарь — стену каменну,
Выведем, выведем красную девушку
За ее за белы рученьки.

Парни выходят из ворот. Девушка, которая теперь уже выдана замуж, выходит с мужем.

Все становятся в курогод[1].

---

[1] По рассказу 56-летней жительницы Солдатского района Суслоновой Матрены Васильевны. Так отмечался первый день Троицы в районах, близлежащих к Тюкалинску и Таре.

Под горой колодец, под крутой ключевой,
Собирались девочки воду черпати,
Воду черпати, парней скликивати.
У меня-то, у молодой, свекор-батюшка лихой,
Свекор-батюшка лихой, он не пустит за водой,
Он не пустит за водой, за холодной, ключевой.

Затем девушки запевают:

Я вечер-то, молода, всю я ночку не спала,
Всю я ночку не спала, все я с милым гуляла.

Или:

В саду желтый листопад,
У нас Иван не женат,
А на что ему жениться,
Его и так девки любят,
Голубушки почитают.
А он ездит по ярмаркам,
Ленты, бусы покупает,
Красных девок награждает.

Только даром не балует —
Каждый вечер их целует[1].

На Троицу в деревнях справляется много свадеб, и на любой из них поются песни. Вот слова 44-летней Арины Николаевны Темеревой (из Любинского района) о сибирской свадьбе на Троицу: «Поедут в лес на лошадях, наломают веток, украсят зеленью лошадей, кошовки; стародубок натычат, цветов разных, лесинок — прямо любо глядеть. Вспомнишь, сердце радуется».

Дело к вечеру. На улицах оживление. В одном месте поперек дороги протянута веревка, за ней — стол с хлебом-солью, возле — мужики, бабы. Это молодых с поезжанами встречают. Показывается поезд — молодые едут к венцу. Впереди на паре едет дружка. За ним, также на паре,— дружка и сваха. Затем жених с невестой и сваха. А там остальные.

Кони в лентах, цветах. «Вина, вина подавай!» — кричат поезжанам. «Бутылку — ладно?» «Две давай!» Веревка убирается, свадьба едет дальше. На обратном пути на этом месте поезд опять «откупится» вином или деньгами. Подъедут к воротам жениха — ворота на запоре: гости (со стороны жениха) закрыли их, требуют выкупа.

Родители жениха выносят четверть вина, и жених угощает гостей. Ворота открываются, у въезда разметают метлой; въезжают и всех лошадей ставят в ряд, привязывают к протянутой во весь двор веревке Начинают гулять.

Молодых благословляют. Подруги запевают:

---

[1] Записано в Тюкалинском районе.
[2] Иногда чтобы остановить свадьбу, жгли по дороге костры.

У Степана было на дворе,
У Гавриловича на широком дворе,
У них звончики зазвонили,
Колокольчики забрякали,
В барабаны приударили.
Что это за радость за така?
Что это за веселье за тако?
Красну девушку во двор привезли.
Не верба низко клонится —
Степан богу молится.
Он просит благословленне
У родного у тятеньки,
У своей родной маменьки[1].

Невесте расплетают косу.

III

...Чуть мерцает коптилка на голом столе. Стены, кажется, сдвинулись к огоньку, и внимают протяжным заунывным звукам старческого голоса, то высоко поднимающегося и уносящего сердце слушателя в бесконечную высь, то постепенно опускающегося, доходящего до шопота.

Старуха сидит за прялкой. Она только что пела свадебные, вечерешние, хороводные песни, и желтое лицо ее, окаймленное черным платком, выглядело моложе: перед ней проходили памятные девичьи годы. Но вот оно сделалось строгим, брови сдвинулись, перед глазами — величественная древняя столица — белокаменная Москва-матушка, объятая пожаром.

Тени по печи, по палатям, по деревянному полу. Полутьма — и светлая, торжественная песня.

Во святой Руси, каменной Москве,
У Ивана то было, у Великого...

Голос то скрипит, то льется плавно, то после кашля—задребезжит. На минуту старуха оставляет прялку и оборачивается к столу. Свет ударяет в лицо. Она поднимает голову и жмурится....

У собора было, у Успенского.
Там ударили-то в большой колокол,
Что слышно-то было по всей Москве,
Что по всей Москве, по всей армии,
славной гвардии,—

Голос выше, громче и грознее:

---

[1] Записано в Большеуженском районе, Омской области.

Наполеон-то идет, приближается,
А Москва в огне пламенем убавляется.

Минуту она неподвижно смотрит в одну точку. Молчит. И неожиданно вздохнув полной грудью, просветлев вся, будто вспомнив что-то дорогое сердцу, начинает опять помолодевшим голосом:

За нашей деревней, за большим селеньем,
Там ходит — гуляет удалой молодчик.
Он ходит — гуляет, во скрипку играет,
Во скрипку играет, девок забавляет.
Кличет, выкликает красну девицу:
«Пойди—выйди, девушка, ко мне за вороты,
Со мною, молодчиком, со мной побороться».
Как девушка, молодца, его поборола,
Пуховую шапочку с его долой сшибла,
Шелкову рубашку на нем изорвала,
Козловы сапожки на нем затоптала.
«Как же тебе, девушка, как тебе не стыдно:
При всем меня мире, при всем пристыдила,
При всем меня мире, при всем при народе,
При, красная девушка, большом хороводе».
Как девушка, молодца, его пожалела,
Пуховую шапку на него надела,
Шелкову рубашку на нем зашивала,
Козловы сапожки на нем вытирала,
Дорогим платком дарила, другом называла.

IV

В поле при возвращении из поля, на посиделках (за прялкой, за самопрялкой, при лучине, потом при керосиновой лампе), на вечерках у двора (при вертении свясел), чаще пелись: «В том саду, при долине, громко пел соловей», «Как во нашем во селеньи нова новинка» (чудесен напев этой песни!), «Ах, ты ноченька, ночка темная», «Снежки белые, пушистые снежки» (переработка Панова).

На сельских пирушках можно было услышать песни: «Ванька ключник», «Зачем я тебя полюбила», «Никто меня не пожалеет и никому меня не жаль»,[1] «Не сказать ли вам, подруженьки, про несчастьице свое», «Полоса моя полосынька», «Чесал Ванюшка кудрицы»[2].

В Любинском районе на посиделках обычно пелись «Ветер дует сподувает, сад зелененький цветет», «У окошечка сидела, пряла беленький ленок», «Приходи, мил, в воскресенье, у нас будет день веселья», «Зеленый дубочек на яр спохылился».

---

[1] В частности, в районах, прилегающих к г. Омску.
[2] В частности, в районах, прилегающих к г. Таре.

Совсем другие песни на посиделках и вечеринках пели в районах, находящихся вблизи г. Тюкалинска. На посиделках там можно было услышать песни: «Сашенька, милая, по саду гуляла», «Ты гори-ка, гори, моя лучина», «Развесело было время, когда мил меня любил», «Катенька, Катеринушка, девка бравенькая».

Особый круг в тех местах составляли вечерешние песни. Из большого количества записанных нами назовем хотя бы такие: «Распробедная головка — нечем закурить», «Просилася Катенька у своего тятеньки», «Мимо рощицы дороженька торна».

Почти все вечерешние песни оканчиваются, примерно, так:

Чернобровый, душа мой,
Поцелуемся с тобой.

Или:

Ни то ли что холостому —
Женатому тошно,
Целоваться можно.

Или:

А как он ночует во темном лесе,
Во темном во лесе,
Целоваться здеся.

Вот одна из вечерешних песен[1].

Не со вечера рябину дождичком мочило,
Со полуночи кудрявую ветром обдувало.
Ветер веет, солнце греет,
Рябина алеет.
Не рябинушка алеет —
Мой милый долеет.
Он долеет, отъезжает,
С новою гуляет,
Он с новою, молодою,
С Машенькой другою.
Не гуляй, милой, с другою —
Целуйся со мною.

Большую группу составляют проголосные песни. Старейшая жительница дер. Хутора, Солдатского района, Пиджакова П. А. рассказывает: «Песни-то эти пелись у нас в старое-старое время. Хутора наши песнями славились. Песельный был народ. И в семье-то нашей песельники. Бывало, в страду-то наработаешься, домой едешь — глаз выколи,

[1] Записана в Солдатском районе.

емно, — а поем. За две версты услышат дома, говорят: «Наши едут». На голоса-то песни больно хороши—протяжные, красивые».

С ее слов мы записали такие песни, как «Гуленька-голубочек, зла-окрыленький воркуночек», «Шла Машутка из лесочку», «Не пой-ка, брат, соловушко, во зеленом саду», «Не велела мать за реченьку хо-дить», «Цвели во поле цветики, они восповяли» и многие другие.

При возвращении с поля в Любинском районе и соседних с ним районах пелись также: «Эх, ты, Ваня, разудала голова», «Во субботу, день ненастный», «Зеленый дубочек на яр спохылился» и чудесная «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»:

Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому,
До-о-брый мо-ло-дец и-дет.
Эх! Сашенька, Машенька,
Душенька, Наташенька,
До-о-брый мо-ло-о-дец и-дет.
Сам он со кудрями, сам он со русыми,
Ра-аз-гова-а-ривает.
Эх! Сашенька, Машенька,
Душенька, Наташенька,
Ра-аз-гова-а-ривает.

И в этом разудалом «Эх!» и в буйно-веселом припеве, во всей песне видишь «всего русского человека с широко открытой душой, простого, сильного».[1]

V

В дни Отечественной войны песня мобилизовала наш народ на борьбу с ненавистным врагом человечества — фашизмом.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Патриотическая песня зазвучала по всей советской земле, духовно вооружая советских людей. В грозные дни войны родился новый замечательный гимн — Гимн Советского Союза, с любовью подхваченный многомиллионными массами фронта и тыла.

---

1 Из письма капитана Гуселетова поэту М. Исаковскому.

Песня нужна нам как штык, или бомба. Она помогает нам любить и ненавидеть. Она помогала крепить связь фронта с тылом.

В дни войны созданы такие замечательные песни, как «В бой за Родину, в бой за Сталина», «До свиданья, города и хаты», «Песня смелых», «Ой, туманы мои, растуманы».

С новой силой зазвучали песни мирного времени: «От края до края, от моря до моря», «Песня артиллеристов», «Дан приказ», «Я на подвиг тебя провожала».

Какие же песни, кроме перечисленных, любят петь сибиряки, в первую очередь, сибиряки-воины? С какими песнями Сибирь боролась и побеждала? Какие песни созданы сибиряками в дни войны?

Эти вопросы полностью должны быть освещены в фольклористике.

Фронтовик А. И. Смирнова, ныне инспектор Солдатского райОНО, рассказывает: «Любимые песни сибиряков на фронте — «Цветок в траншее» («Врага проклятого на запад крепко гоним») и «Вечер на рейде»; часто поют они «Махорочку», «Уходил моряк из дому», «Два товарища» («Жили два товарища на свете»). У молодых воинов популярной является «Курсантская» («Школу кончив, снова в путь далекий»).

Медсестра Вера Пайвина, родом из города Тюкалинска, сообщала с фронта своим родным: «Сообщаю еще песенку. Поется она на мотив «Спят курганы темные» (следует текст песни «Старая шинель» — «Ты любовно сшитая, пулями пробитая»). Поется она у нас тут с любовью».

А Маруся Зуева, находящаяся с первых дней войны на фронте, шлет сестре в Солдатский район песню «Уходил моряк из дому» (сл. Исаковского) с припиской: «Катя. это самая моя любимая песенка, которую я напеваю ежеминутно. Может быть, ты знаешь мотив?».

Конечно знает. Эта песня — популярнейшая в Солдатском районе, так же как и «Мать надела черную косынку, провожая сына-казака», «Мы думали, пуля его не возьмет» (сл. Е. Рыбиной), «В землянке», «Темная ночь». В Любинском районе среди допризывников 1926 года большой популярностью пользовалась «Не грусти, не плачь, подруга». С этой песней будущие молодые воины с Ново-Архангельска покидали родимые места, отправлялись в воинскую часть. В тот же вечер, простившись с товарищами, девчата пели «Краснофлотскую», «Играй, мой баян», «Тучи над городом встали».

Может быть тогда же были сложены такие частушки.

Мой миленочек уехал
С немчурою воевать.
Хоть годочек — не недели,
Я не буду забывать.

Как окончится война,
Пойдут ребята ротами.
Своего я дорогого
Встречу за воротами.

Я свой беленький платочек
Не стану повязывать,
Отошлю на фронт миленку
Раны перевязывать.

Девушки, война, война,
Грозная, всемирная.

Пусть успешнее идет
Работа коллективная.

«Покажите мне народ, у которого бы больше было песен, — писал Н. В. Гоголь. — Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов!»

Эти замечательные слова мы с гордостью повторяем сейчас, когда наш народ добился величайшей Победы над темными силами фашизма. Народ создаст еще об этой великой Победе много прекраснейших песен.

В. БУРМИН

ТОБОЛЬСКИЙ ГРАЖДАНИН ПЕТР ЕРШОВ

Какая целы! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить...

(ТИМКОВСКОМУ)

1

В середине сороковых годов прошлого века П. Ершов писал своему петербургскому другу: «Муза и служба — две неугомонные соперницы, — не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга. Муза напоминает о призвании, о первых успехах, об искусительных вызовах приятелей, о таланте, зарытом в землю и пр. и пр., а служба -- в длинном мундире, в шпаге и в шляпе официально докладывает о присяге, об обязанности гражданина, о преимуществах оффиции и пр. и пр...»

Службу Ершов понимал, как полезную гражданскую деятельность, она была неотделима для него от творческих замыслов. Горькие строки о соперничестве музы и службы вырвались у него уже после того, как его энергия гражданина натолкнулась на непреодолимую стену николаевской оффиции.

Молодой, подающий блестящие надежды, обласканный самим Пушкиным, поэт уже с первых шагов своей самостоятельной жизни, сталкивается с этим противоречием. Умер отец, умер брат, Ершов с матерью остается почти без средств и тогда-то впервые появляется у его светлой музы роковая соперница в официальном мундире. Трудно юному кандидату, только что окончившему университет. Он вынужден искать себе покровителя. На титульном листе мастерски драматизированного Ершовым народного рассказа о великом полководце «Суворов и станционный смотритель» стоит посвящение: «Князю Михайле Александровичу Дондукову-Корсакову усерднейшее приношение»... Князь Дондуков-Корсаков был в то время попечителем петербургского учебного округа и от него во многом зависела судьба Ершова.

Князь, хотя, слыл меценатом, но не особенно спешил оказывать свои благодеяния. Прошение Ершова о службе долго путешествовало по канцеляриям министерства. Наконец, в марте 1835 года Ершов добивается аудиенции у князя-мецената. Вот как он сам рассказывает об этом в письме к А. В. Никитенко: «Князь встречает меня вопросом: «В какой город вы хотите?» Я отвечал: в Тобольск, не понимая, впрочем, о чем идет дело. Князь продолжает, что министр согласен дать мне звание корреспондента... Мне хотелось бы знать: одну ли должность корреспон-

дента предлагают мне или вместе с учительской? Какое жалование для той и другой? Какую обязанность я должен принять на себя, согласившись на звание корреспондента? Что до меня, то если для корреспондента назначено будет довольно жалования, я с охотой приму эту должность и откажусь от учительской. Здоровье мое очень расстроено, медики советуют мне ехать на родину и потому я должен буду благодарить этот случай, что не попустому сделаю трехтысячное путешествие».

Из этого письма видно, что вопрос о средствах для существования был в этот период очень важным для Ершова. Учителя сибирских гимназий в те годы получали меньший оклад, чем учителя центральной части России. Но Ершов хочет ехать именно в Сибирь, в Тобольск и не только из-за расстроенного здоровья, как мы увидим дальше.

Более года еще длилась эта унизительная волокита. Тяжело живется Ершову в Петербурге. Литературный заработок мал и непостоянен. Петербургский климат и материальные лишения губительно действуют на здоровье. Болеет мать — Ефимия Васильевна, болеет и сам Ершов. Только летом 1836 года Ершов получает назначение в Тобольскую гимназию. Он покидает столицу империи российской для того, чтобы до конца дней своих, почти безвыездно поселиться в «стольном граде Сибири» — Тобольске.

Ершов уезжает из Петербурга, имея широкие творческие планы. Житейские трудности не сломили его. Уже начата грандиозная поэма — сказка «Иван Царевич», герой которой, русский молодец, побеждает все темные и злые силы на земле. В дневнике набросаны планы путешествий по Сибири, издания журнала, изучения истории, жизни и быта сибирских народов... И символом успеха — металлическое кольцо из роз на пальце, а на кольце латинские буквы M. и V.— Mors et Vita. Да, «на жизнь и смерть» поклялись Петр Ершов и Константин Тимковский в том, что осуществят свои замыслы... Тимковский далеко сейчас, где-то у берегов Америки. Что ж, из Тобольска до Америки ближе чем из Петербурга... Шкуна Тимковского придет прямо в Тобольск северным путем, изучая берега, острова и народы, населяющие их. Это тоже часть плана...

2

Вот и Тобольск. Полный надежд и энергии юноша Ершов въезжает в старинный русский город на Иртыше. Все здесь мило его сердцу — и разноязыкая шумная толкучка на перевозе через Иртыш, и бревенчатые мостовые, и белокаменный Кремль на высокой горе, и древние церкви, построенные галицкими мастерами. Все здесь освящено дорогими воспоминаниями детства...

Мальчиком он приехал сюда из далекого северного Березова и сразу попал в новый для него мир, многообразный, противоречивый. Ершовы поселились у тестя, отца Ефимии Васильевны, богатого тобольского купца Пиленкова. Дед торговал с Китаем и был человеком прижимистым, расчетливым, набожным. Все в доме носило отпечаток его тяжелой воли. Душные горницы, заставленные прочной мебелью, огромные шкафы, за мутными стеклами которых тускнели самые яркие цвета китайского фарфора, вместительные сундуки, набитые тканями, мехами, шубейками, кафтанами, платьями, телогрейками, сарафанами... Иконы, лампады, ночные бдения перед многоэтажным киотом; запахи деревянного масла, ладана, пыли и еще чего-то трудно определимого,

но характерного. Страх и почтительность управляли здесь — страх перед богом, перед царем, перед богатым хозяином. Все было прочно, устойчиво в этом доме и само собой утверждало незыблемость существующих порядков и правил...

Но рядом, совсем рядом, был другой мир — просторная людская. Там веяло свежим ветром романтики, там мальчик спасался от тесного мира пиленковских горниц, там пахло дегтем от мужицких сапог, щами, табаком... Мальчик встречал в людской бывалых людей, водивших караваны к восточному морю, слушал рассказы о диких пустынях, о таинственных «китаях», о горах, что подпирают небеса, о сказочных городах и диковинных народах... Сказка здесь дружила с былью, сны оказывались действительностью, и чудесные превращения Иванушки-дурачка в царя, а злого царя — в ничто, погоня за Жар-птицей, красота Марьи-царевны волшебно отражались в окружающем. Дед оказывался Кащеем, его дом — заколдованным царством, где за семью замками хранятся несметные сокровища и спит красавица-царевна. В конюшне стояли коньки-горбунки, невзрачные сибирские кони, на которых ямщики деда — тоже заколдованные богатыри — достигали волшебных восточных морей... Не раз бродил мальчик по большому пиленковскому саду, или в окрестностях Тобольска, и чудился ему в нежной листве березок, или в задумчиво-хмурой зелени елей опаляющий блеск Жар-птицы. Он чувствовал себя тогда Иваном-царевичем, который победит злого царя, делающего людей несчастными, заковывающего их в цепи... Волшебен был этот мир — мир ямщиков, стряпух, конюхов, бродяг, сторожей, нищих, странствующих монахов... Да и сам город был тогда сказочно ярок для мальчика из Березова. Город, издревле полный людьми неугомонными, предприимчивыми, оживленнейший центр политической и торговой жизни; город-перекресток, куда сходились пути и из знойной Индии, и из таинственного Китая, из хмурой Гипербореи; город, где запад сталкивался с востоком, а житель Афганистана с обитателем Заполярья; город, где ямщики были летописцами, а летописцы бунтовщиками и открывателями новых земель... Талантливый мальчик впитывал в себя, как сухая земля воду, все это многообразие видимого и фантастического мира...

Иным он увидел Тобольск теперь, после шестилетней разлуки. И тише и меньше казался город, и краски его не так уж были ярки, и великолепие его потускнело после строгой красоты Северной Пальмиры... Но в сердце его жил Тобольск его отрочества — счастливой поры поэтов — и казалось ему в этот теплый июльский день, что здесь, на земле отцов своих, он сможет соединить и службу и поэзию, сможет осуществить свои гражданские планы и поэтические замыслы...

3

С первых же дней его ожидали разочарования. Тобольск переменился. утих, уступил место более молодому Омску, да и сам Ершов стал тоже другим. Путь в людскую ему был закрыт — он приехал сюда служить. Та же стена казенномыслия и бюрократизма, что мешала ему в Петербурге, встает на его пути. Его холодно принимают в Тобольске. Князь П. Д. Горчаков, генерал-губернатор, для которого Николай Первый был образцом во всех отношениях — увидел перед собой юного штатского, который (кто его знает?) может быть уже заражен опасными идеями. Неприветливо встретили Ершова и в гимназии. Да могло ли быть иначе? И система преподавания и сами преподаватели Тобольской гимназии были от-

мечены той же печатью чиновничества, как и большинство николаевских учреждений.

Ершов был назначен преподавателем латинского языка. И в этом — своеобразная горькая насмешка. Автор чудесной русской сказки, сам, по отзывам современников, прекрасный рассказчик, чуткий знаток народного и поэтического языка, преподает мертвую латынь. Он признавался друзьям, что это было мукой для него и он уже подумывал подать рапорт о болезни. Но, к счастью, не долго пришлось ему занимать пост латиниста — освободилось место преподавателя словесности и философии в старших классах. Ершов занимает его.

Так с первых дней юноша Ершов столкнулся с препятствиями на пути к осуществлению своих широких гражданских планов. Но он не прожектер, который довольствуется прекрасными замыслами и скудной действительностью. Он готов начать с малого. Ершов с жаром берется за преподавание любимой им грамматики и словесности и далеко выходит за пределы официального гимназического курса. Он хочет разбить «умственные цепи», в которые заковывались юные умы гимназистов. Ершов борется с отупляющим действием тогдашних схоластических методов преподавания, будит в учениках самостоятельность мышления, интерес к живому русскому слову.

Он рассказывает ученикам о своих встречах с Пушкиным, Жуковским, Плетневым, Бенедиктовым, читает свои предметы по университетским запискам.

«Нет худа без добра, — пишет он другу в Петербург, — и я готов даже подтвердить старинную латинскую поговорку docendo discimus, хотя с небольшим ограничением. При том — участвовать в деле образования — вещь тоже не последняя»...

Преподавание все больше увлекает его. Он видит, что здесь его гражданская энергия будет полезна и даже более — необходима, так как в гимназии не учат, а калечат. Ершов приходит к мысли, что необходимо коренным образом обновить гимназический курс. Он начинает со своего предмета. В 1837 году Ершов пишет программу словесности для гимназий. В ней он намечает новые методы и цели преподавания. Они должны исключать «стеснение свободы воображения детей». Из преподавания Ершов предлагает удалить «все схоластические подробности и разделения, бесплодно обременяющие память учеников». Он требует приобретения для гимназии полных сочинений Пушкина, Гоголя, Жуковского, Бенедиктова и др. Целью преподавания словесности в гимназии он считает развитие в учениках самостоятельности мысли, любви к родному языку и родной литературе. Эту программу Ершов старается осуществить и практически.

В письмах Петербургским друзьям, приведенным в книге Ярославцева,[1] Ершов часто жалуется на однообразие и скуку тобольской жизни. Но это не совсем верно. Ярославцев хотел оправдать малую поэтическую активность Ершова только его оторванностью от центра. Письма он приводит не все, в отрывках. В действительности, жизнь Ершова в Тобольске не была уже так угнетающа; мы можем судить об этом по тем же письмам Ершова и из ряда других источников, например, из писем Девятовой, воспоминаний декабристов. Вскоре же после приезда своего из

---

1 А. К. Ярославцев, П. Ершов, автор сказки „Конек-горбунок", СПБ 1872 г. Все неоговоренные цитаты из писем Ершова и к Ершову взяты из книги Ярославцева.

Петербурга он находит среду, в которой ценят его талант и сочувственно относятся к его гражданским порывам.

В конце 30-х и начале 40-х годов Ершов сближается с семьей нового преподавателя гимназии Гаврилы Казанского. Дом Казанского в Тобольске был местом собраний передовой молодежи города. Все свежее, талантливое находило в нем радушную встречу. В этом доме частыми гостями были и декабристы. К этому же времени относится и сближение Ершова с Фон-Визиным. У гостеприимного Фон-Визина часто собирались его товарищи по изгнанию — декабристы: Бобрищев-Пушкин, Анненков, Александр Муравьев, Вольф, Свистунов, нередко появлялись там Пущин, Янтальцев, Басаргин, приезжавшие из Ялуторовска. У Фон-Визина была большая библиотека, он регулярно получал журналы, и русские, и иностранные, следил за новинками литературы и философии. Тогда же Ершов начинает посещать и дом М. Д. Менделеевой, матери будущего великого химика. В этом доме также часто собирается цвет тобольского культурного общества. Здесь беседуют больше о практических вещах, не касаясь высоких материй поэзии и философии: о возможностях создания заводов и фабрик на сибирском сырье, о работе Аремзянского стеклодельного завода, хозяйкой которого является сама Менделеева, женщина недюжинная, энергичная, умная. Ее сын, вспоминая о детских годах, говорит, что научные стремления заложены были в нем как раз в годы тобольской жизни.[1]

Оживленные собрания в этих домах, споры, беседы, воспоминания о столице, о жизни в ней будят мысль и творческую энергию Ершова. Муза его в эти годы активна. Он пишет и печатает в журналах стихи, поэму «Сузге», несколько одноактных пьес, отсылает в Петербург либретто оперы «Жених-мертвец». От декабристов, друзей Пушкина, он получает два неопубликованных стихотворения великого поэта и посылает их в «Современник» П. А. Плетневу. Летом Ершов совершает прогулки вокруг Тобольска, изучая прошлое края. Много энергии он отдает гимназическому театру — в нем он и автор, и режиссер, и нередко исполнитель, а главное — организатор. Театр этот в течение ряда лет пользуется заслуженным успехом у тоболян. В гимназии Ершов выступает с речью о поэтическом творчестве, пишет большую статью «О переменах, происходивших в нашем языке от половины IX века настоящего времени», все время ведет активную переписку с петербургскими друзьями. Жизнь его в эти годы многообразна, деятельна и совсем не так уж уныла и скучна, как хочет ее представить Ярославцев. Ершов полон сознания своего гражданского долга: «вступив в службу и произнеся священные слова присяги, мне кажется грешно и бесчестно делать, как многие — между прочим». Так он пишет в Петербург, отвечая на упреки друзей.

Ему начинает казаться, что он достиг того, о чем мечтал — сочетания своей творческой деятельности с общеполезной гражданской. Тимковский, правда, так и не привел в Тобольск шкуну из Америки, широкие планы изучения Сибири, издания журнала на время откладываются. Но юношеские дерзания не угасли в Ершове. Разве не следуют после строк:

Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить.

---

[1] Дм. Ив. Менделеев родился в 1834 г в Тобольске, учился в Тобольской гимназии с 1843 по 1849 год, до отъезда матери в Москву.

строки, которые тоже полны благородного гражданского устремления:

Разрушить умственные цепи
И человека сотворить.

И Ершов, верный юношеской клятве «на жизнь и смерть», приступает к своим «Мыслям о гимназическом курсе». Этот труд поможет разбить цепи, сковывающие народное образование в тогдашней России.

4

«Мысли о гимназическом курсе» не дошли до нас полностью. В книге Ярославцева приводятся лишь выдержки из них. Принимать эти выдержки, как наиболее характерные, мы не можем. Ярославцев весьма посредственный писатель, цензор Петербургского цензорного комитета, мог и сгладить наиболее острые места и выбросить казавшиеся ему слишком радикальными. Для этого у него были некоторые «основания», как мы увидим позднее. Но уже то, что мы читаем в выдержках у Ярославцева, говорит нам: «Мысли о гимназическом курсе» Ершова намного опережали систему и методы обучения того времени.

«Науки должны иметь целью пользу человека» — этой цитатой из Бэкона начинает свой очерк Ершов. — «Опираясь на эту великую истину, — пишет он далее, — можно сказать также решительно, что образование должно иметь своей целью пользу. И действительно все убеждены в непреложной справедливости этой мысли. Несмотря на то, все-таки эта мысль не имеет полного приложения».

Далее Ершов дает определение образованию: «Образование, — пишет он, — есть развитие духовных и физических сил юноши по трем направлениям — как человека, как гражданина и христианина. Прямое значение его — приготовить юношу к общественному служению (принимая это слово в обширном смысле) и дать ему возможные средства к довольствию и счастью земной жизни».

Вслед за этим Ершов критикует систему преподавания. Он не согласен с тем, что латинский язык поставлен краеугольным камнем образования. «Никакой действительной причины к этому нет. Виной здесь только схоластика и подражательность». В то же время такие необходимые предметы, как русский язык, философия, история, география изучаются в гимназии крайне недостаточно. Русский язык и словесность ограничиваются заучиванием правил, философия превращена в какую-то умственную технологию, русская история преподается гораздо сокращеннее, чем история греков и римлян. В своей критике Ершов не обходит ни один из предметов, даже такой, как богословие.

Имея серьезные пробелы, образование не может достигать цели — развить духовные и физические силы юношей, и Ершов приводит список предметов, которые необходимо включить в гимназический курс. Среди них на первом месте естественные науки, затем технология, хозяйство, медицина, музыка, пение, гимнастика, плаванье. Введение каждого предмета в курс он обосновывает, указывает в каких пределах должен преподаваться тот или иной предмет, разделяет предметы по классам и по времени года. Годичный курс он предлагает заканчивать в апреле, в мае проводить экзамены, а летние месяцы использовать для гимнастики и плаванья, собирания гербария, прогулок по изучению истории края. Учащиеся будут заняты морально

и физически круглый год. В свободные дни в гимназии устраивается театр силами самих учеников и преподавателей. Взамен бесполезного метода зализывания учениками лекций преподавателей, Ершов говорит о необходимости введения постоянных учебников. Такова широкая и хорошо продуманная новая программа воспитания, предложенная Ершовым.

«Мысли о гимназическом курсе» намного опережали существовавшие в то время методы и программу обучения. Лишь в 1864 г. с введением реальных училищ мы видим, что в русской педагогической практике было частично осуществлено то, о чем мечтал в сороковых годах старший учитель словесности Тобольской гимназии П. Ершов.

Кое-что из своей новой системы воспитания Ершов пытается осуществить на свой риск и страх в Тобольской гимназии. Но в своих начинаниях он неизменно наталкивается на глухую стену николаевского бюрократизма. Директором гимназии был в те времена некто Качурин. Современники так вспоминали о нем: «Качурин ужасно любил все оформить, даже к инспектору он всегда обращался с предписанием № 1 и № 2 и т. д., хотя бы дело касалось самого пустяка». Попытки Ершова встречают неизменное противодействие со стороны этого «человека в футляре». Как бы чего не вышло! «У нас братец, такая строгость, что преподаватель не должен сметь свое суждение иметь, иначе назовут немного не бунтовщиком» — жалуется Ершов петербургскому другу. Качурин старается все втиснуть в рамки своего чиновничьего казенномыслия, и когда он узнал, что Ершов читает курс по университетским запискам, Ершову это было немедленно запрещено.

Ершов не успокаивается. Он делает еще одну серьезную попытку «разрушить умственные цепи». Он никак не может мириться с тем, что юные умы калечатся риторикой Кошанского,[1] что отечественная литература в пренебрежении, что русский язык хотят уподобить мертвой латыни. Горячо любя родину, живой русский язык, автор «Конька-горбунка» надеется, что может быть в этой части преподавания его планы будут встречены сочувственно. В декабре 1844 г. он посылает в Министерство Народного просвещения три тетради своего «Курса словесности» для гимназий. Но и здесь его ждет неудача.

«Курс словесности» странствует по канцелярии министерства около трех лет. Сначала он попадает в руки академику Лобанову. «Это, что называется, академик-парик, — пишет в «Дневнике» Никитенко, — старая литература для него святыня, новая — ересь и сплошная мерзость. Каждая новая идея, говорит он, заблуждение, французы — подлецы, немецкая философия — глупость, а все вместе: либерализм, против которого он, Лобанов, написал уже речь!» От Лобанова «Курс» попадает к академику Давидову, человеку не менее реакционному, завистливому и мелочному. Результатом трехлетнего «изучения» ершовского «Курса словесности» этими академиками явился краткий и невразума-

---

[1] Тоболяк К. Голодников в своих воспоминаниях о гимназии пишет: «Еще интереснее была преподаваема риторика Кошанского, форма разного рода сочинений. Первые опыты сочинения писались по вопросам: «Кто, что, где, при чьей помощи» и т. д. и у нас выходили преуморительные вещи в роде, например, следующих: Кто? — Александр Македонский. Что? — Покорил весь свет. Где? — Где же назначить нахождение «всего света»? Смущенный до нельзя ученик отвечал на вопрос где? — «В историч Кайданов». («Ершов — учитель Тобольской гимназии»).

тельный, отзыв: «Курс словесности не может быть введен в гимназии, потому что он не вполне отвечает понятиям воспитанников».

Так неудачно закончились попытки Ершова «разрушить умственные цепи». Ершов был подавлен этими неудачами. В его письмах к друзьям все больше и больше тоски, недовольства окружающим, усталости от бесплодности гражданских усилий. Муза его звучит слабее, он прибегает к ней, чтобы выразить свою боль от незаслуженных ударов судьбы. Но через год с небольшим после неудачи с «Курсом словесности» Ершов получает еще один несправедливый и роковой для его творческой активности гражданина и поэта удар от соперницы его музы — николаевской оффиции.

5

В 1849 году Качурин уходит в отставку. Все уверены, что его место займет П. Ершов. Рассчитывает на это и он сам. Две причины побуждают его к этому: надежда практически осуществить свои планы по улучшению преподавания — у директора больше возможностей для этого,—и желание лучше обеспечить себя и свою немалую к этому времени семью.

Надеждам Ершова не удалось сбыться. Неожиданно для всех место директора занимает некий Чигиринцев, бывший советник пограничного управления, личность темная, авантюрная, никакого отношения не имеющая ни к гимназии, ни к министерству народного просвещения. Но за него ходатайствовал перед министром генерал-губернатор князь Горчаков. Такой поворот событий был странным для всех, а Ершов просто растерялся.

До этого Ершов служил инспектором гимназии, место директора по праву принадлежало ему. Что же за причины были такой неожиданной «немилости» к Ершову. Неужели близость его с ссыльными поляками или то, что он был желанным гостем в доме государственного преступника Фонвизина, или то, что автор «Конька-горбунка» был ежедневным собеседником умирающего декабриста Кюхельбеккера? А быть может причина была в его попытках осуществить гимназические реформы, в его волнодумных «Мыслях о гимназическом курсе» или в его «Курсе словесности», отвергнутом министерством и официальными академиками?

Нет, дело было серьезнее. Какие-то совершенно новые, неожиданные для всех и для самого Ершова причины побудили Горчакова изменить свое первоначальное намерение. Даже Плетнев, всегда благожелательно относившийся к автору «Конька-горбунка», и тот ничем не мог помочь ему. В своем письме к Ершову он пишет: «Назначение в директоры гимназии не может зависеть не только от усилий такого человека как я, но и от ближайшего и высшего начальства», что он желал бы «словом истины разрешить недоумение Ваше»... но это связано «со множеством других обстоятельств, более Вам известных, чем мне».

Этот важнейший в жизни Ершова момент до сих пор остается неразгаданным. Ярославцев, вероятно, знал истинную причину внезапной немилости к Ершову, но в своей книге пишет невнятно, намеками: «Мы слышали, что против Ершова какими-то личностями были пущены в ход даже грязненькие вещи»....«злая клевета»...

Сам Ершов был крайне удручен. Рушились его последние надежды. Он хочет уехать из Тобольска, просит петербургских друзей помочь

ему. «Умоляю Вас, Петр Александрович, научите меня, что мне делать?... Дайте мне совет, который решит мою будущность»... — пишет он Плетневу. Его охватывает сомнение в полезности прожитой жизни: «Я все еще современник той прекрасной эпохи нашей литературы, когда даже едва заметный талант находил одобрение, когда люди заслужившие уже известность (я вспоминаю А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и Вас),[1] не считали для себя унизительным подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли с такой честью. И кто знает, может быть неудачи мои по службе — наказание за измену моему назначению...»

От последних слов так и веет глубокой тоской поэта по забытой им Музе. Соперница его музы — служба «в официальном мундире и при шпаге», николаевская бюрократическая оффиция еще раз одержала победу над Ершовым, творчески одаренным человеком. На этот раз победа оффиции была почти полной — с 1849 года начинается быстрое затухание творческих порывов и устремлений Ершова.

В чем же была действительная причина этого служебного несчастья, обрушившаяся на Ершова так неожиданно и так незаслуженно? Чтобы понять ее, необходимо на время перенестись из стольного града Сибири в Петербург. Там в это время происходили события, которые и послужили, на наш взгляд, истинной причиной внезапной немилости к Ершову со стороны сибирских официальных властей.

6

В июне 1849 года генерал-губернатор Западной Сибири, князь П. Д. Горчаков получил весьма секретное отношение военного министра. Горчакову предписывалось лично произвести строжайшее дознание о вредных действиях в Сибири отставного поручика Рафаила Черносвитова. Побудили военного министра к этому показания арестованных по делу Буташевича-Петрашевского. Многие из арестованных указывали на Черносвитова, как на опасного бунтовщика, умного и решительного человека, который в столицу-то приехал за тем, чтобы вступить в тайное общество. Показывали, что Черносвитов говорил о каком-то готовящемся грандиозном восстании уральских рабочих и каторжных Сибири.

Крамольного поручика в Петербурге уже не было. Он уехал в Сибирь. Немедля за ним был послан жандармский офицер со строжайшим предписанием арестовать Черносвитова и доставить в Петербургскую крепость. Жандармский капитан поскакал через всю Россию, по следам бунтовщика, как гончая за волком. На станции камышлинской близ Омска, 3-го июля 1849 года Черносвитов был арестован.

После обычной следственной процедуры Черносвитову была устроена очная ставка с петрашевцем Спешневым. Вот что показал Спешнев: «Он слышал от Черносвитова, что Урал почти готов восстать, что можно иметь 400 тыс. вооруженных, что это сила страшная, и кто имеет ее в руках, тот почти может быть уверен в победе, что ежели, например, кто с такой массой кинется в Поволжье, где народ помнит Пугачева, то, вероятно, подымает ею все, и если пойдут на Москву, то по Москве пойдет вся средняя Россия».[2]

Черносвитов не отрицал, что он говорил о возможности начала восстания из Сибири. Правда, совсем не в такой форме, и, что сам

---

[1] Из письма к П. А. Плетневу.
[2] Дело петрашевцев, т. I, стр. 488.

Спешнев, выслушав его рассказы о бунтах в Оренбургской и Пермской губерниях, в Курганском округе, и о том, что «соседство сибирских поселенцев и каторжных на винокуренных заводах Пермских и Тобольских есть соседство ненадежное, — сказал: «Вот где должна будет начаться будущая революция России»[1]

Спешнев называл себя коммунистом и выделялся среди остальных петрашевцев своими революционными взглядами. Он видел будущее России в крестьянском восстании и был сторонником насильственного переворота. Его, естественно, заинтересовали красочные рассказы Черносвитова о возможности восстания с Урала и Сибири, нового Пугачевского бунта, как он говорил.

Несколькими днями раньше, чем Черносвитов, на «пятницах» Петрашевского появился еще один отставной военный. Это был Константин Иванович Тимковский, отставной лейтенант флота, старый знакомый и университетский друг П. Ершова. Он рекомендовал себя «чистым фурьеристом», но уже первое его выступление на «пятнице» произвело потрясающее впечатление: «Многие побледнели, раскаянье в приезде на вечер и страх изобразились на лицах. Впечатление это произвело...не либерализм речи Тимковского, а то, что он предлагал действовать».[2]

Большинство петрашевцев отрицательно отнеслись к выступлению Тимковского, «Речь Тимковского... была возбудительной в духе коммунизма», — показывает петрашевец Ханыков. «Тимковский говорил в самом нелепом духе о необходимости какого-то переворота и высказывал желание возмущения» — показывает Толла. Некоторые даже заподозрили в Тимковском агента-провокатора. Но Спешневу понравилось горячее, полное юношеского огня, выступление Тимковского, и он заявил, что «согласен с ним совершенно». Тимковский посетил Спешнева на его квартире, и там они в интимной беседе решили, что из кружка Петрашевского ничего путного не получится, и что необходимо составить свой самостоятельный кружок «для действия».

Три этих человека, настроенных наиболее решительно и революционно — Спешнев, Черносвитов и Тимковский — не раз встречались вместе.

22 мая 1849 года Тимковский, живший в Ревеле, был арестован по доносу и доставлен в Петропавловскую крепость. Судом он был приговорен к расстрелу, но по конфирмации смертную казнь ему заменили арестантскими ротами.

7

Чистая юношеская дружба крепко связывала сибиряка Ершова и внука «русского Колумба» Тимковского,[3] на указательном пальце руки Тимковский тоже носил металлическое кольцо из роз, и на кольце тоже были выгравированы M. и V. Mors et Vita —на жизнь и смерть.

Друзья надели эти кольца в знак клятвы, которую они дали друг другу перед расставанием. Неугомонная кровь деда текла в жилах Константина Тимковского, он мечтал о дальних плаваньях, о неведомых

---

1 Дело петрашевцев, т. I, стр. 469.

2 Дело петрашевцев, т. II, стр. 477, показания Момбелли.

3 Мать Тимковского была родной дочерью Григория Железнова, знаменитого русского путешественника, которого Державин называл „русским Колумбом", основателя Русско Американской компании.

землях и морях. Сибирь — дно золотое — таинственная, неисследованная, влекла его. Юноши поклялись приложить все свои силы к ее изучению. В сердечных беседах в маленьком домике Ершовых, за Лиговкой, они обсуждали свои будущие планы. Юноши намечали организовать своего рода научное общество по исследованию и использованию богатств Сибири. Члены этого общества летом будут путешествовать по всем уголкам Сибири, собирать сведения по истории, географии, физике, жизни и быте народов, а зимой собираться в городе, изучать эти сведения и издавать свой журнал. Подписка на журнал доставит дополнительные средства для дальнейших исследований. Юноши горели высоким гражданским огнем, стремлением оказать благо своей родине, мечтали «воздвигнуть падшие народы», озарить пустыни светом гражданства, вырвать из недр неисчислимые богатства, прочесть таинственную книгу истории народов Сибири...

Тимковский оставил университет и ушел во флот. Перед его отъездом в Америку, друзья встретились и Ершов запечатлел это прощанье в прекрасном стихотворении. По своей торжественной приподнятости, страстности, оно звучит, как клятва:

...закон небесный
Нас к славной цели предизбрал,
И он же нам в стране безвестной
Ту цель в рассвете указал.

— пишет Ершов и дальше говорит о великих задачах, что стоят перед ними. Это целая программа широкой всеобъемлющей гражданской деятельности на благо родине. О ней мы уже говорили выше. Он призывает к твердости и решительности в выполнении намеченной цели:

Сомненья робкие подавим,
Явим величье древних дней
И козням зла противоставим
Всю силу твердости своей.
Великим трудностям — терпенье,
Ошибкам — первые плоды;
Толпе насмешливой—презренье,
Врагам—молчанье и труды.

Они готовы пасть в неравной борьбе, но не отступить от осуществления своих замыслов. Ничто не должно потушить священного огня в их груди.

Не охладим святого рвенья,
Пойдем с надеждою вперед.
И если... пусть! Но шум паденья
Миллионы робких потрясет!

Путешествие по Сибири должно начаться через пять лет. К этому времени они пополнят необходимые знания, изучат литературу о Сибири, подготовят все необходимое для путешествия, соберут нужных людей. Тимковский обещает привести из Америки северным путем шхуну в Тобольск.

Мы уже знаем, что осуществить эти планы юношам не удалось. Но пламень гражданственности в сердцах юношей не угас. Ершов делал все, что был в силах сделать в Тобольске, верный юношеской клятве. А Тимковский, вернувшись из плаванья, и, послужив еще немного во флоте, где тоже очень сильно чувствовалась жестокая и грубая рука Николая Первого,[1] ушел в 1845 году в отставку. А через три года мы видим его уже на «пятницах» Петрашевского. Мысль о благе народов, о разрушении умственных и физических цепей, в которые закован человек, по-юношески волнует этого зрелого и много уже испытавшего человека.

Так не были ли «злая клевета» и «грязненькие вещи», пущенные против Ершова, связаны в какой-то степени с событиями 1849 года в Петербурге? Попробуем разобраться в этом. Прямых доказательств к этому нет, но очень многие косвенные убеждают нас в правдивости такого предположения. Прежде всего наталкивает на это совпадение во времени. Большинство петрашевцев были арестованы в апреле, следствие по их делу закончилось в октябре, приговор осуществлен в декабре 1849 года. Служебная неудача, постигшая Ершова, падает на конец 1849 г.; до этого времени инспектор Тобольской гимназии был на хорошем счету. Затем, характерно отношение Ярославцева к планам Ершова и Тимковского и к Тимковскому. Ярославцев был тоже родом из Сибири и тоже являлся близким другом Ершова, но в своих воспоминаниях он всячески старается подчеркнуть свою непричастность и даже осуждение планов Ершова-Тимковского. Не может быть так же и того, чтобы Ярославцев не встречался у Ершова с Тимковским, не был с ним знаком достаточно близко, между тем Ярославцев опять-таки старательно подчеркивает, что сам он мало знал Тимковского. Вообще о Тимковском он говорит мимоходом, не приводит ни одного письма его к Ершову, ни Ершова к Тимковскому, не упоминает ни об одной встрече с ним. А по приезде Тимковского из Америки Ярославцев и Тимковский не могли не встретиться (между прочим о такой встрече Ершов просит сообщить в одном из писем к Ярославцеву), не вспомнить об их общем сибирском друге. Чувствуется, что осторожный цензор Петербургского цензорного комитета стремится post factum оградить и себя и своего университетского друга от опасного знакомого.

В пользу нашего предположения говорит и следующий факт. Профессор Азадовский в предисловии к стихотворениям Ершова[2] указывает, что «недавно разобранные в Пушкинском доме бумаги Майковых позволяют установить тесную связь Ершова с Аполлоном и Валерианом Майковыми и всей их семьей, в частности, он был сотрудником рукописного журнала семьи Майковых «Подснежник». Помимо того, что Аполлон Майков оказался тоже привлеченным к делу петрашевцев, а Валериан, погибший в 1847 году, участвовал вместе с Петрашевским в составлении знаменитого словаря иностранных слов, Ершов мог встретиться в семье Майковых еще с одним будущим петрашевцем. Мы

---

[1] Петрашевец Баласогло, о котором мы еще будем говорить ниже так охарактеризовал состояние передовой части морского офицерства в те годы: «Дальние вояжи совершенно прекратились; наука была подавлена, рассеяна, убита... В офицерстве во всю мою бытность во флоте только и было слухов и толков, что государь император не терпит ни наук, ни ученых, называя последних, после 14 декабря, тунеядцами и мерзавцами»... (Дело петрашенцев, Т. II, стр. 69).

[2] *Ершов П.* Стихотворения, «Советский писатель», 1936 г.

говорим об А. П. Баласогло. Он тоже был близким знакомым Майковых. «С Майковыми я сошелся где-то у художников, которые все знакомы друг с другом, по товариществу, и с которыми я всегда водился с самого своего приезда в Петербург, по моей страсти к искусствам» — говорит он в своих показаниях[1]. В 1834 году, в год окончания Ершовым университета, Баласогло — офицер балтийского флота, — посещал университет. Он был человеком разносторонних талантов, поэт, энтузиаст науки и искусства, он много сил и энергии отдавал изучению Сибири и востока, мечтал о путешествиях. Общность интересов Баласогло, Тимковского и Ершова, таким образом, налицо. Бывая в одних кругах, они должны были слышать друг о друге.

Интерес к Сибири и сибирские связи были у многих петрашевцев, в том числе у самого Петрашевского. Спешнев, Черносвитов, Баласогло, Тимковский, Латкин[2] и ряд других были так или иначе связаны с Сибирью. Следственная комиссия тщательно проверяла эти связи. Секретные отношения были посланы всем сибирским генерал-губернаторам. И если сибирские связи петрашевцев не привели непосредственно к Ершову, то время тогда было такое, что достаточно было только косвенной связи (а они, как мы видим, были) или намека на прошлую или настоящую близость Ершова с кем-либо из петрашевцев, чтобы он сам подпал под серьезное подозрение. Это могли с успехом использовать в своих целях разные тобольские недоброжелатели Ершова.

И наконец, в педагогических работах Ершова мы находим прямое влияние Фурье. Фурье ставит целью воспитания развитие в человеке общественных (гражданских) чувств и развитие трудовых влечений и навыков. Ершов заботится о том же. Большое внимание Фурье уделяет физическому и эстетическому воспитанию детей. Ершов в своих «Мыслях о гимназическом курсе» пишет о необходимости введения в курс гимнастики, плаванья, верховой езды, музыки, пения, а в свободное время устраивать ученический театр (у Фурье—опера). Фурье в работе «О воспитании при строе гармонии» пишет о постоянном процессе обучения. Ершов предлагает занимать учащихся круглый год без официальных каникул, которые по его мнению вредны.

Познакомиться со взглядами Фурье Ершов мог у декабристов, в частности у Фон-Визина, из книг, которые он выписывал из Петербурга, и наконец, из писем своих петербургских друзей.

Все это вместе взятое убеждает нас в правдивости предположения, что те «грязненькие вещи» и «злая клевета», на которые намекает Ярославцев, были порождены, вероятно, прошлыми, а вполне возможно и совсем недавними, петербургскими связями Ершова.

Автор «Конька-горбунка» резко выделялся среди чиновного мира Тобольска. Оффиция в мундире и при шпаге не могла ему этого простить.

8

Еще двадцать лет прожил Ершов в Тобольске, и в эти годы для него было больше пасмурных дней, чем солнечных. Неудачи в гражданской деятельности побуждают его снова обратиться к музе. Но муза уже не так приветлива к коллежскому советнику, стареющему инспек-

---

[1] Дело петрашевцев т. II, стр 122. В Петербург Баласогло приехал в 18 9 г.

[2] Сын сибирского золотопромышленника, студент Петербургского университета.

тору гимназии, как была когда-то к юноше, только что вступающему в жизнь.

Ершов переходит на прозу. Он пишет несколько рассказов о прошлом Сибири, о казаках, о кучумовых татарах. Рассказы объединены общим названием: «Осенние вечера». Символично это название. Ни блеска солнечного, ни живой игры красок, ни радостного юмора нет в них. Как далеки они от юношеских творений Ершова! В них — мягкая задумчивая грусть, добрая усмешка, плавная медлительность изложения. Это осень таланта.

«Осенние вечера» посланы добрейшему П. А. Плетневу. Ершов ждет его одобрения, задумывает сибирский роман — «Купер послужит моим руководителем». Но отзывы Плетнева сдержанны, хлопоты друзей безуспешны — рассказы долго не находят места и появляются в печати лишь через семь лет.[1] А сибирскому роману мешают заботы и служба, да и огня прежнего нет.

Плохо и с «Коньком», Ершов подготовил новое, четвертое издание, дополнил, частью восстановил цензурные вымарки и передал рукопись книгоиздателю. Но цензоры не разрешили «Конька». Только после смерти Николая Первого, в 1856 году «Конек» снова увидел свет. Ершов был страшно рад этому проблеску былого счастья: «Конек мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь! — писал он друзьям. — Журнальные церберы пока еще молчат. Но ведь конек и сам не прост. Заслышав тому уже 22 года похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав в это время во всю долготу и ширину русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы и тешит люд честной, старых и малых, и сидней, и бывалых и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до окончания века».

Но коротка эта радость. Житейские тревоги омрачают ее. Ершов ничего не нажил за годы службы, не имеет даже своего угла, живет на казенной квартире. Денег постоянно не хватает. Он спрашивает у петербургских друзей о плате в журналах за лист оригинальных и переводных статей, готов за плату заняться переводом книг. «Об одном только прошу, ради бога, доставьте мне средства трудами содержать себя и милое мое семейство!» — вырывается у него в письме. Но Тобольск далеко от Петербурга, да и мало кому дела в столице до какого-то Ершова из Сибири... И Ершов с горечью признается: «Как гражданин я сижу, как рак на мели — на своем инспекторском месте... как писатель я забыт публикой и в немилости у журналистов; как человек я покован двойными цепями — холодом природы и железных людей».

Ершов уже выслужил полную пенсию, но не ушел в отставку, о чем мечтал раньше. Он подает ходатайство о пенсии вместе с просьбой послужить еще пять лет.

Просьбу его удовлетворяют и даже больше: после смерти Чигиринцева в 1857 г. Ершова наконец-то назначают директором гимназии и Тобольской дирекции училищ. Но и это запоздалое назначение происходит не сразу. Мы видели в Тобольском архиве запрос шефа жандармов о Ершове, относящийся к 1856 году. Сохранился и положительный ответ. Вероятно, прежде чем поставить Ершова директором, министерство решило проверить поведение Ершова через сотрудников III-го отделения.

---

[1] В 1857 году в журнале А. Плюшара «Живописный сборник».

Назначение это будит в нем новый прилив гражданской энергии: «Я завален работой. По сибирским моим правилам, я службу не считаю одним средством для жизни, а истинным ее элементом. Отстав от литературы, я всего себя посвятил службе, не в надежде будущих благ, а в ясном сознании долга»..

Работы много. Дирекция и гимназия остались после Чигиринцева в самом запущенном состоянии. Ершов часто выезжает в инспекторские поездки по обширной Тобольской губернии. Трудно ему с пошатнувшимся здоровьем, постаревшему не по годам, странствовать по сибирскому бездорожью, входить во все мелочи и дрязги захолустных городков, где училище — единственное культурное учреждение. «Ясное сознание долга» поддерживает его. Не знаем, носил ли он в эти годы заветное кольцо с буквами М. и V., но кое-что из своих замыслов он осуществил: по его настоянию были открыты женские школы в Кургане, Тюмени, Ишиме, а в Тобольской гимназии вводится курс естественных наук; заботе Ершова обязаны многие школы губернии полными библиотеками.

Еще одну мечту удается осуществить ему в эти годы — побывать в служебной командировке в Петербурге. Он бережно хранил в памяти Северную Пальмиру своего юношества, город «отца отечества великого Петра», город Пушкина, Жуковского, университетских друзей, надежд и планов. Иным он увидел его теперь — сухим, казенным; городом министерских канцелярий и поважневших друзей. Тимковского среди них не было. Он отбыл арестантские роты, участвовал в войне 1854 — 55 гг., и за отличие в боях ему уже возвратили чин и дворянство, но в столицу въезд ему был все же запрещен. Ершов страшится воспоминаний, которые «живой чредой» нахлынули на него при виде строгих проспектов Северной Пальмиры. В них и укор, и боль, и сомнение. Скорее домой, в тихий Тобольск, где похоронены лучшие надежды, где можно видеть хотя бы малые плоды своего честного гражданского труда.

В 1862 году Ершов уходит в отставку. Скудная годовая пенсия, лишение казенной квартиры, болезни, заботы, заботы без конца — омрачают последние годы жизни поэта. Он становится религиозным, ведет отшельническую, замкнутую жизнь. Лишь «Конек» озаряет иногда сумрак жизни и укрепляет в сознании, что не зря прожита жизнь...[1]

—«Я еще не забыт!»—радостно воскликнул Ершов, когда получил известие о балете «Конек-горбунок»,[2] поставленном в Петербурге. Но он ошибался. В Петербурге давно уже забыли о нем. И когда в 1869 году в С.-Петербургских ведомостях было напечатано коротенькое сообщение о смерти Ершова, многие были искренне озадачены:

— «Кто это Ершов?» — спрашивал иной.

— «Автор «Конька-горбунка».

— «Боже мой! А об нем ни слуху, ни духу, я думал, что он уже давно не существует. Сколько я знал стихов, целых тирад из его «Конька-горбунка».

«Еще за несколько лет до этого, случалось нам, — пишет далее Ярославцев — неоднократно при упоминании о Ершове, разрешать вопросы: — «Разве он жив? Мы думали, что он давно уже умер...»

---

[1] В эти годы «Конек-горбунок» выходил два раза: в 1865 г. — 6-е издание, в 1868 г. — 7-е издание.

[2] В 1865 году, музыка композитора Пуни.

Перед смертью, больной тяжело и мучительно, любил Ершов сидеть у окна в гостиной и смотреть на тобольскую улицу, на Иртыш, на людей, идущих мимо дома... А рядом на подставке, закрытые стеклянным колпаком стояли мертвые цветы.[1]

Прекрасно было юношеское цветение Петра Ершова. Он входил в жизнь с открытой душой, чистый сердцем и помыслами, надеясь, что юношеская клятва, подобно сказочному «Сезам, откройся», устранит все препятствия на пути. Но перед ним встала непреодолимая соперница его живых дел, все умертвляющая николаевская оффиция. По чистоте сердечной и глубокому чувству долга перед родиной, он принял ее сначала за союзницу, а она коварно умертвила его лучшие юношеские цветы, засушила их под пыльным стеклянным колпаком казенномыслия и бюрократизма.

Его называют Homo unius libris —человеком одной книги. Ершов не любил латыни. Да, и не к чему втискивать живого человека в мертвую формулу. Разве для нас автор «Дон Кихота» тоже Homo unius libris. Нет, хотя и очень многие не знают о его «Новеллах» или пьесах. Мы ценим и любим его не за то, что он человек одной книги, а за то, что в одной книге он вместил целый мир. Огромный, красочный, богатейший, полный жизни, плоти и крови, надежд и страданий, прозорливости гения. Нельзя отделить автора от его детища. Со страниц «Дон Кихота» на нас смотрит и сам Сервантес, непрактичный интендант «непобедимой армады», тоже всю жизнь боровшийся с ветряными мельницами людской низости, жестокости, несправедливости и унесший с собой в могилу камни несбывшихся надежд...

«Рожденный в недрах непогоды», Ершов с детства носил в себе

Непостижимого мученья
Неистребимое зерно,

ту вечную неудовлетворенность, стремление сделать мир лучше, которые отличают талант от посредственности.

И в его «Коньке» тоже целый мир. Мир, близкий, родной и понятный нам. Недаром и сейчас без устали скачет «Конек». Чудесны образы Иванушки и Горбунка — это народ, с его вечным обновлением, неугасимым оптимизмом, верой в светлое будущее, народ, перед творческой силой которого ничто все темные и злые силы.

Нам дорог Ершов не только как поэт, дороги нам и его несбывшиеся мечты, его искания. Все это тропинки, по которым уже уверенно пошли потомки. То, о чем он мечтал, чем горел, что воплотил в образах своих лучших произведений уже во многом претворено в жизнь. «Луч гражданства» озарил народы его родины, умственные и физические цепи разбиты, Сибирь из страны мрака стала страной будущего, богатства ее служат на пользу и славу всего нашего народа. А народ наш, по праву заслуживший имя героического, пройдя через жестокие испытания и беды, стал еще прекраснее, еще сильнее, и в могучем своем усилии смел с лица земли темные силы, которые хотели заковать в цепи целые народы и страны.

---

1 По воспоминаниям О. Крестьяновой.

Б. БУХШТАБ

КОЗЬМА ПРУТКОВ, П. П. ЕРШОВ и Н. А. ЧИЖОВ

1

Авторы классических пародий, эпиграмм, басен, афоризмов, комедий, укрывшиеся под псевдонимом «Козьма Прутков», сочинили не только псевдоним, но и авторскую личность с биографией и яркой характеристикой. Директор Пробирной палатки Козьма Петрович Прутков — настолько цельная и характерная писательская фигура, его образ так скрепляет произведения нескольких участников, что возник единственный в истории литературы случай, когда вымышленный автор — герой стал в один ряд с реальными писателями; сочинения Козьмы Пруткова не разбиваются на произведения отдельных авторов, а издаются и изучаются как творческая продукция одного автора.

Для поддержания иллюзии естественным было со стороны подлинных авторов сохранять в тайне состав участников «Козьмы Пруткова», и мы видим, что он долго не был точно известен даже в литературных кругах. Ходили и печатно высказывались слухи об участии Панаева, Добролюбова, Аммосова, Лонгинова.. С другой стороны, такой библиографически осведомленный литератор, как Н. В. Гербель в своей хрестоматии «Русские писатели в биографиях и образцах» (1873 г.) приписал все наследие Козьмы Пруткова единоличному творчеству Алексея Жемчужникова. Именно по поводу хрестоматии Гербеля Алексей Жемчужников впервые печатно указал, что, кроме него, в сочинении «прутковских» стихотворений участвовали его братья и А. К. Толстой. Это утверждение повторялось затем и Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми в полемике с редактором журнала «Век», который стал помещать в журнале фельетоны, незаконно подписанные псевдонимом «Козьма Прутков».

Именно с целью оградить права «настоящего» Козьмы Пруткова В. М. Жемчужников раскрыл этот псевдоним во вступительной статье к первому изданию полного собрания сочинений Козьмы Пруткова (1884). Статья, озаглавленная «Биографические сведения о Козьме Пруткове» написана в тоне мистификации. Козьме Пруткову приписывается вполне самостоятельное существование, но в конце статьи мистификация раскрывается и называются подлинные авторы. При этом, чтобы оградиться от высказывавшихся подозрений в авторстве еще других лиц, В. М. Жемчужников называет не только постоянных участников — А. К. Толстого, Алексея Жемчужникова и себя, — но и спорадических. Такими оказались Александр Жемчужников и П. П. Ершов,

Это указание, да еще аналогичное высказывание того же В. М. Жемчужникова в письме к А. Н. Пыпину от 6 февраля 1883 г., — един-

ственные свидетельства об участии П. П. Ершова в творениях Козьмы Пруткова.

Приведу сперва цитату из письма к Пыпину.

«Я уехал на службу в Тобольскую губернию, и творчество Пруткова замолкло — пишет В. М. Жемчужников. — В Тобольске я познакомился с Ершовым (творцом «Конька-горбунка»). Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Пруткова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену «Черепослов, сиречь френолог», прося поместить ее куда-либо, потому что «сознает себя отяжелевшим и устаревшим». Я обещал воспользоваться ею для Пруткова, и впоследствии, по окончании войны и по возвращении моем в СПб., вставил его сцену, с небольшими дополнениями, во 2-ое действие оперетты «Черепослов», написанной мною с бр. Алексеем и напечатанной в «Современнике» 1860 г. — от имени отца Пруткова, дабы не портить уже вполне очертившегося образа самого Козьмы Пруткова».[1]

Короче в «Биографических сведениях»:

«**Петром Павловичем Ершовым**, известным сочинителем сказки «Конек-горбунок», было доставлено несколько куплетов, помещенных во вторую картину оперетты: «Черепослов, сиречь френолог».

И сноска:

«П. П. Ершов лично передал эти куплеты В. М. Жемчужникову, в Тобольске, в 1854 г., заявив желание: «Пусть ими воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я уже ничего не пишу». Кстати заметить: в биографии П. П. Ершова, напечатанной г. Ярославцевым в 1872 г., на стр. 49 помещен отрывок из письма Ершова от 5 марта 1837 г., в котором упоминается о «куплетцах» для водевиля «Черепослов», написанного приятелем его «Ч-жовым». Не эти ли «куплетцы» и были в 1854 г. переданы П. П. Ершовым? При них было и заглавие: «Черепослов».[2]

Как уже сказано, за 60 лет, протекших со времени появления «Биографических сведений о Козьме Пруткове», никакими новыми данными об участии Ершова в творчестве Козьмы Пруткова мы не обогатились. Между тем, в скупых сведениях Жемчужникова есть деталь, на которую до сих пор не обратили внимания исследователи как Козьмы Пруткова, так и Ершова, хотя она очевидно может стать отправной точкой дальнейших розысков.

Стихи второй картины «Черепослова» — не вводный номер, они теснейшим образом связаны со всей опереттой и, поскольку написаны раньше ее, — очевидно, легли в ее основу и определили сюжет. Это типичные водевильные куплеты, несколько архаические для 50-ых годов, почему естественно было оперетту, в основу которой они легли, приписать «отцу Пруткова».

Вряд ли можно не согласиться с Жемчужниковым и думать, что в цитированном им письме речь идет об одном произведении под названием «Черепослов», а впоследствии Ершов передал фрагмент какого-то другого произведения под тем же названием. Речь идет, очевидно, об одной и той же вещи. Но — в той мере, в какой она была написана — она была написана, по свидетельству письма Ершова, «приятелем его Ч-жовым».

Судя по контексту В. М. Жемчужников как будто считает наименование «Ч-жов» шутливым псевдонимом самого Ершова. Естественно так

---

[1] Цитирую по Полному собранию сочинений К. Пруткова под ред. П. Н. Беркова. М. Л., 1933, стр. 458-459.

[2] Там же, стр. 513.

воспринимают эту сноску и читатели, у которых, видимо, не возникало до сих пор подозрения относительно авторства Ершова. Автор настоящей статьи, например, предполагал, что «Ч-жов» это неправильно прочитанный публикатором или с ошибкой напечатанный ребус: «Ъ-шов». Однако, все подобные предположения развеиваются, как только от цитаты мы обращаемся к самой книге Ярославцева, цитируемой Жемчужниковым.

В контексте часть письма, в которой упоминается о «Черепослове» выглядит так: рассказав о пьесах, написанных им для гимназического спектакля, Ершов прибавляет:

«Еще приятель мой Ч-жов готовит тогда же водевильчик: «Черепослов», где Галлю[1] пречудесная шишка будет поставлена. А куплетцы в нем — что ну, да на, и в Питере послушать захочется».[2]

А в первом письме из Тобольска к тому же адресату В. А. Треборну, от 16 октября 1836 г. Ершов сообщает об отъезде из Тобольска своего предместника, учителя Бобаловского, с которым он сразу сошелся, и затем добавляет:

«Из других знакомых моих я назову тебе только двоих: В-лицкого, воспитанника Парижской консерватории, и Ч-жова, моряка, родственника (племянника) нашего профессора Д. С.Ч.»

Итак «Ч-жов» оказывается реальным лицом, и это лицо является автором куплетов, вошедших в оперетту Козьмы Пруткова, Ярославцев сократил его фамилию, как и другие фамилии в своей книге, но восстановить ее не трудно. Дядя Ч-жова профессор Петербургского университета Д. С. Ч. — это, конечно, профессор математики Дмитрий Семенович Ч и ж о в.

Таким образом, мы получаем твердые сведения о заинтересовавшем нас лице: его фимилия Чижов, он моряк и племянник петербургского профессора Д. С. Чижова.

Попробуем по этим сведениям установить, что это за личность.

Несмотря на точные, как будто, исходные данные, трудности встречают нас на первом же шагу. «Общий морской список» не указывает на протяжении царствования Николая I ни одного морского офицера по фамилии Чижов. Остается предположить, что речь идет об отставном офицере, о бывшем моряке.

Это следует и из косвенного соображения. Чижов, видимо, постоянный житель Тобольска: мы знаем, во всяком случае, о его пребывании в Тобольске в течение по меньшей мере полугода (Между письмами, в которых он упомянается, расстояние почти 5 месяцев, а ведь уже в первом письме Ершов говорит о Чижове, как о близком знакомом). А какая могла быть действительная морская служба в Тобольске, удаленном на несколько тысяч верст от стоянок любой флотилии?

Но есть ли в это время бывшие моряки Чижовы? По данным «Общего морского списка» есть только один. Вот какие сведения дает о нем «Общий морской список»:

> Ч и ж о в, Николай Александрович. В 1813 г. произведен в гардемарины. В 1813-1820 гг. плавал в Черном море на судах гребного флота. В 1818 г. произведен в мичманы. В

---

1 Франц-Иосиф Галль — основатель френологии. Б. Б.

2 *П. К. Ярославцев.* Петр Павлович Ершов, автор сказки „Конек-горбунок". СПб. 1872, стр. 49.

3 Там же, стр. 45.

1820 г. командирован в Архангельск. В 1821 г. на бриге «Новая Земля» плавал от Архангельска до острова Новая Земля и обратно, после чего возвратился берегом в Петербург. В 1822 г. был у проводки корабля «Эмгейтен» и корвета «Гремящий» от Петербурга до Кронштадта.
произведен в лейтенанты.

И, наконец, последняя запись:

«1826 июля 15. За участие в государственном преступлении сослан в Сибирь на поселение».

Речь идет о декабристе Чижове.

Обратимся к основному биографическому справочнику по декабристам — указателю Модзалевского и Сиверса.[2]

Здесь мы находим два указания, которые подтверждают идентификацию тобольского приятеля Ершова с декабристом Чижовым. Одно из них: «писал стихи», другое: «двоюродный племянник заслуженного профессора Петербургского Университета Дмитрия Семеновича Чижова. Арестованный на квартире профессора Чижова, доставлен в Петропавловскую крепость 17. XII. 1825.»[3]

Можно, конечно, предположить, что у профессора Чижова было несколько племянников и все они писали стихи, — но то, что при этом искомый Чижов — моряк, другого же моряка Чижова, кроме декабриста, не было, дает право считать идентификацию полной.

И, однако, ей грозит крушение перед лицом одного простого факта: декабрист Чижов, повидимому, никогда не жил в Тобольске. К такому выводу, по крайней мере, приводит изучение литературы как о Чижове в Сибири, так и о декабристах в Тобольске.

Из всей биографии Чижова лучше всего освещены первые шесть лет его жизни в ссылке. Приговоренный к ссылке на поселение «навечно», с последующей конфирмации на двадцать лет, — Чижов был в 1826 г. отправлен в Олекминск, Якутской области. В Иркутске в Центральном архиве Восточной Сибири сохранился не только ряд дел о декабристах, в которых Чижов упоминается, но и несколько специальных дел о Чижове: «Дело о стихотворении государственного преступника Чижова, напечатанном в Московском телеграфе «1832 г., № 8», «Дело о бывшем олекминском исправнике Федорове, оказавшемся в связях с государственными преступниками Андреевым и Чижовым», «Дело по письму государственного преступника Чижова на высочайшее имя о всемилостивейшем дозволении ему служить рядовым», «Дело о переводе государственного преступника Чижова из Олекминска в Александровский завод». Содержание этих дел изложено в статье Н. Н. Бакая «О литературных занятиях декабристов в Восточной Сибири» («Сибирские Огни», 1922. № 3) и в особенности в книге Б. Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири»

---

[1] Общий морской список Ч. 8. СПб., 1894, стр. 449.

[2] Восстание декабристов. Материалы, Т. 8. Алфавит декабристов. Под ред. из примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 420.

[3] Проф. Д. С. Чижов продолжал поддерживать связь с племянником и после ссылки его. Когда Николай I запретил сосланным декабристам иметь оружие, Н. А. Чижов просил отослать его охотничье ружье в Петербург своему дяде профессору Чижову. (Б. Г. Кубалов. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925, стр. 70).

(Иркутск, 1925). По этим исследованиям мы можем представить себе характер быта, ближайшее окружение и основные события жизни Чижова в Олекминске. Мы узнаем и о его литературных занятиях.

До сих пор известны три стихотворения Чижова — и все они видимо написаны в олекминской ссылке. Названия их — «Нуча», «Воздушная дева» и «Журавли». Все они перепечатаны в советских изданиях.

«Нуча. Якутский рассказ», появившись в «Московском телеграфе» 1832 г. (№ 8), за полной подписью «Н. Чижов» и с пометкой «Олекма», возбудил тревогу администрации высшей и нисшей — от Бенкендорфа до исправников и городничих — и принес серьезные неприятности поэту и его олекминскому окружению. Это стихотворение перепечатано и в статье Н. Н. Бакая и в книге Б. Г. Кубалова.

«Воздушная дева (Якутская фантазия)» напечатана в альманахе «Утренняя заря» на 1839 г. с подписью «Чижов» и перепечатана М. К. Азадовским в специальной публикации[1]. По предположению М. К. Азадовского стихотворение «написано, вероятно, не в 1839 г., а гораздо раньше, когда еще Чижов жил в Якутской области».

Наконец, «Журавли» напечатаны М. И. Муравьевым-Апостолом по автографу из его альбома в «Библиографических записках» 1861 г. (№ 14). Стихотворение подписано буквами Н. Ч. и имеет пометку «Олекминск на Лене. 1828 г.». Вторично напечатано по той же рукописи с полной подписью в 1907 г., в сборнике «Декабристы. Материалы для характеристики» под ред. П. М. Головачева. Перепечатано в антологии Ю. Н. Верховского «Поэты-декабристы». (М. Л., 1926).

Авторитетнейший историк сибирской литературы М. К. Азадовский считает эти стихотворения настолько значительными в истории сибирской поэзии, что упоминает обо всех трех в своей обзорной статье «Литература сибирская» в «Сибирской советской энциклопедии». «Декабристы — пишет здесь М. К. Азадовский, — впервые, в лице Марлинского и Чижова, обратились к народной поэзии туземных племен, как источнику поэтической работы: баллады Чижова «Нуча», «Воздушная дева», баллада Марлинского «Саатырь» заимствованы из якутского фольклора»[2].

Чижов, естественно, рвался из страшной глуши, в которой ему пришлось провести шесть лет. Он подавал прошение царю об определении рядовым в действующую армию. Николай отказал. Чижов просил о переводе в Якутск, ввиду расстроенного здоровья и отсутствия медицинской помощи в Олекминске. Николай наложил резолюцию: «перевести в другое место, но не в Якутск», — и Чижова «по усмотрению» генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского в начале 1833 г. привезли на жительство на Александровский винокуренный завод Иркутской губернии. Но в том же году матери Чижова, энергично хлопотавшей о своем сыне, удалось добиться зачисления его в армию. 24 июня 1833 г. Николай I приказал определить Чижова рядовым в один из сибирских линейных батальонов по усмотрению командира Отдельного Сибирского корпуса Вельяминова. 16 сентября того же года Чижов определен в 14-й линейный батальон, расположенный в Иркутске.

Дальнейших документов о Чижове в Иркутском архиве, очевидно, нет — и с этих пор мы больше не имеем о нем никаких сведений, кроме следующих скудных официальных данных, приведенных в указателе Модзалевского и Сиверса:

---

[1] *М. Азадовский* Якутская поэма декабриста Чижова. В. сб. «Очерки по изучению Якутского края», вып. II, Иркутск, 1928, стр. 122 — 127.

[2] «Сибирская советская энциклопедия», т. III, столбец 166.

1837 г. 15 — VI. Произведен в унтер-офицеры,
1840 г. 15 — II. Произведен в прапорщики.
1840 г. 6 — XI. Назначен помощником начальника продовольственного отряда при Штабе Сибирского корпуса.
1842 г. 12 — VI. Уволен в 4-месячный отпуск в Тульскую губернию.
1843 г. 26 — II. Уволен от службы с дозволением жить в с. Покровском, Чернского уезда, Тульской губ.

Дозволено жить в с. Троицком, Орловской губ и в других губерниях, где есть имения кн. Горчаковой, коими он управлял, с сохранением секретного надзора.
1848 г. Умер холостым.

Где проходила почти десятилетняя военная служба ссыльного Чижова — здесь не указано; очевидно, считается, что все это время он провел в Иркутске; так, по крайней мере, показано в таблице местопребывания декабристов в Сибири, приложенной к статье Б. Г. Кубалова «Декабристы в Сибири» в «Сибирской советской энциклопедии» (т. I, стлб. 802).

Обратимся теперь к литературе о декабристах в Тобольске. Она довольно обширна: опубликован ряд писем декабристов из Тобольска, статей и воспоминаний об отдельных декабристах, живших в Тобольске, и обо всем круге тобольских декабристов в целом. Нигде нет никаких упоминаний о Чижове.

Имеется, наконец, монументальный труд А. И. Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири» (М., 1895. 2-е изд. — СПБ, 1905), написанный преимущественно на основании материалов Тобольского архива. Здесь каждому декабристу, жившему в Западной Сибири, посвящено по отдельной главе. Но о Чижове имеется лишь одно упоминание, регистрирующее его проезд через Тобольск в 1826 г. в Олекминскую ссылку.

Состав Тобольского культурного гнезда 30-х — 40-х годов представляется достаточно известным. Из тобольских поэтов 30-ых годов мы знаем не только Ершова и Милькеева, но даже таких мельчайших, как Нагибин, Черкасов, Речкин...[1] Кажется невероятным, чтобы в 30-ые годы в Тобольске жил поэт-декабрист и мы бы об этом ничего не знали.

Но проанализируем приведенные выше данные послужного списка Чижова. Мы видим, что Чижов в 1840 г. служил в штабе Сибирского корпуса. Но штаб Сибирского корпуса до 1839 г. находился в Тобольске, а с 1839 г. был перенесен в Омск. В 1840 г. Чижов, очевидно, жил в Омске. Значит, был же он в Западной Сибири!

2

Вопрос окончательно решает один документ, дважды публиковавшийся в основных наших архивных журналах — в «Русской старине» 1902 г. и в «Русском архиве» 1912 г., — и тем не менее не использованный для биографии Чижова. Я имею в виду письмо наследника Александра Николаевича своему отцу — императору Николаю I, посланное из Тобольска 3 июня 1837 г.

В 1837 г. наследник совершал образовательное путешествие по Рос-

---

[1] *М. К. Азадовский*. Литература Сибирская — «Сибирская сов. энциклопедия», т. III, стлб. 168.

сии в сопровождении Жуковского и других своих наставников и приближенных и три дня провел в Тобольске. Вот что, между прочим, писал он оттуда отцу:

«Горчаков, пользуясь моим прибытием сюда, осмеливается ходатайствовать за непрошенное прощения некоторым несчастным, того истинно заслуживающим; он верно за недостойных не стал бы просить. Во-первых, он просит дозволения произвести из рядовых 1-го линейного Сибирского батальона Чижова в унтер-офицеры, свидетельствуя его усердную и ревностную службу и тихое, скромное поведение. Он об этом вошел с представлением к гр. Чернышову. Помянутый Чижов, за принадлежание тайному обществу и знание цели его, лишен лейтенантского чина и дворянства 10-го июля 1826 г. и был сослан в Сибирь на поселение; но по высочайшему повелению, объявленному графом Бенкендорфом 24-го июня 1833 г., определен на службу рядовым в 1-й линейный Сибирский батальон — Кроме того, он еще просит о прощении лишенных чинов и дворянства и сосланных в Сибирь на поселение Павла Рукина, Льва Кузнецова и жены его, достойных всемилостивейшего милосердия по скромной жизни и хорошему поведению. Просьбы их пересылаю в особенном пакете. Осмеливаюсь присовокупить к этому и мое ходатайство: мне бы чрезвычайно приятно было, милый и бесценный папа, если это возможно, чтобы приезд мой принес этим несчастным облегчение в их судьбе».[1]

Наконец, мы нашли несомненное свидетельство о том, что Чижов был в Тобольске. Теперь пребывание наследника в Тобольске в 1837 г. послужит нам ариадниной нитью.

Через тридцать лет после этого события известный сибирский краевед Н. А. Абрамов поместил свои воспоминания о нем в «Тобольских губернских ведомостях» под заглавием: «Воспоминания о посещении Тобольска Государем Наследником Цесаревичем Александром Николаевичем в 1837 г.» Вот что он, между прочим, здесь пишет:

«По окончании представления Его Высочество произвел смотр линейному № 1-го батальону. Был в корпусном штабе и во время обозрения там типографии были оттиснуты стихи Чижова:

Солнце новое встает
Над Сибирью хладной;
И на темный Север льет
Жизни луч отрадный.
Бьются радостно сердца —
Первенец Царя-Отца
В край грядет обширной,
Поглядеть на свой народ,
На потомков мощных орд,
Сдыкшихся с жизнью мирной.
Воспряни ж, Сибирский край,
Полный умиленья,
Громко к Небу воссылай
Теплые моленья.

[1] «Русская старина», 1902, т. 110, кн. 4, стр. 98; «Русский архив», 1912, кн. 3, № 11, стр. 406.

Бережет тебя судьба,
Помнит Царь вдали тебя,
И красу Престола,
Молодого сына шлет
Осчастливить свой народ
На брегах Тобола».

К фамилии Чижова сделана сноска:

«Чижов был лейтенант, но за участие в мятеже 14 декабря 1825 г. разжалован в рядовые; впоследствии Всемилостивейше прощен»[1].

Мы видим, что генерал-губернатор Западной сибири и Командир Сибирского корпуса князь Горчаков отлично обдумал и обставил свое ходатайство за Чижова. Он заставил его написать приветственные стихи. Задание было выполнено небрежно, ремесленно, нехотя, — но это роли не играло. Горчаков приказал отпечатать стихи в присутствии самого наследника, как образец работы типографии; разумеется, оттиск был вручен почетному посетителю, после чего заинтересовать его автором стихов уже не представляло особой трудности. А до того, как мы видели, Горчаков хлопотал за Чижова у военного министра графа Чернышова — и по этому ходатайству Чижов, видимо, и был произведен в унтер-офицеры, так что добавочное ходатайство через наследника было уже излишним. В самом деле: письмо наследника датировано 3 июня 1837 г., а уже 15 июня состоялось производство Чижова в унтер-офицеры. Между Тобольском и Петербургом по «Почтовому дорожнику Российской империи» — 2964¼ версты. Как бы бешено ни скакал фельдъегерь, как бы быстро ни исполнил желание сына «бесценный папа», все-таки срок слишком короток для получения письма и бюрократической обработки царского повеления.

Проходит еще два с половиной года — и Чижов производится в офицеры, — чего, вообще говоря, декабристы добивались лишь отличием в боевых действиях.

Нельзя не видеть во всем этом систематического и энергичного покровительства Чижову со стороны генерал-губернатора Горчакова. Что было причиной этого покровительства мы не знаем, но тесная связь Чижова с Горчаковым не прекратилась и после отъезда Горчакова из Тобольска. При переезде штаба в Омск Горчаков взял Чижова с собой или вскоре перевел, а после отставки Чижов, как мы видели, занялся управлением имениями княгини Горчаковой.

Остается темным вопрос о том, каким образом Чижов попал в Тобольск. Как Модзалевский и Сиверс, так и Кубалов, пользуясь, видимо, разными документами, указывают, что Чижов 16 сентября 1833 г. был зачислен в 14-ый линейный баталион. Кубалов добавляет, что 14-й баталион был расположен в Иркутске, что соответствует действительности.[2] А наследник Александр Николаевич в письме к царю указывает, что Чижов был определен в 1-й линейный баталион, расквартированный в Тобольске. У нас нет достаточных данных, чтобы распутать эту пута-

---

[1] «Тобольские губернские ведомости» 1867 г., № 46, стр. 271.

[2] Дислокацию войск Сибирского корпуса в эпоху Николая I можно установить по книге: Расписание сухопутных войск. Ч. I. Действующие и резервные войска. Спб. 1847. Здесь также 1-ый Сибирский линейный баталион показан в Тобольске, а 14-ый — в Иркутске.

ницу, несмотря на то, что неожиданный источник дает нам возможность определить время прибытия Чижова в Тобольск с точностью до одного года.

Мы уже цитировали первое известное нам письмо Ершова из Тобольска от 16 октября 1836 г., в котором, в качестве своих ближайших приятелей Ершов называет «моряка Ч-жова» и «В-лицкого, воспитанника Парижской консерватории». «Каждую среду, — продолжает Ершов, — хожу в здешний оркестр, состоящий из шестидесяти человек, учеников Алябьева, которыми нынче дирижирует В-лицкий. Играют большею частью увертюры новейших опер и концерты».

В следующем письме — от 12 декабря 1836 г. — читаем: «Правда, здешние знакомства мои очень ограничены — два-трч человека, но таких людей поискать и в Петербурге. Я, Помнится, писал к тебе о них в прошедшем письме».

В третьем письме — от 5 марта 1837 г. — упоминается «приятель мой Чижов».

В четвертом письме — от 5 мая того же года — Ершов говорит: «Я теперь почти каждый день вожусь с одним композитором, которого судьба забросила сюда из Парижской консерватории. Он мне растолковал кое-что, и я теперь начинаю разбирать уже фуги и контрапункты»[1]

Таким образом, в первый период жизни Ершова в Тобольске его лучшими друзьями, очевидно, являлись Чижов и композитор «В-лицкий».

Фамилия эта уже раскрыта.

С. В. Максимов в книге «Сибирь и каторга» пишет:

«Известный русский композитор, сосланный в Сибирь из Москвы. Алек. Алек. Алябьев, автор пьес, ушедших в народ («Соловей», «Вечерком румяну зорю» и «Вечерний звон»), довел омский оркестр до замечательной степени совершенства.[2] Поляк Волицкий, бывший офицер польской армии, образовавший себя в парижской академии музыки в превосходного учителя и дирижера, в значительной степени поддержал в омском оркестре алябьевскую славу, так что до сих пор дух этих талантливых людей не перестает жить в омском казачьем оркестре».[3]

В заметке Л. М. «Алябьев за Уралом» этот ссыльный поляк Волицкий правильно отождествлен с «В-лицким» ершовского письма.[4]

Мы должны разрешить еще один вопрос, возникающий, вероятно, у каждого читателя этой статьи: отчего же пребывание Чижова в Тобольске не отразилось в литературе о тобольских декабристах? Вероятно, оттого, что он был в Тобольске не тогда, когда там были другие декабристы. Первыми декабристами, поселенными в Тобольске, до сих пор считались Фон-Визин и Краснокутский, прибывшие туда во второй половине 1838 г. В 1840 г. появились братья Бобрищевы-Пушкины и Барятинский, в 1841 г. Анненков, а за ними и остальные декабристы (Вольф Муравьев, Кюхельбеккер), присоединившиеся к тесному кружку, придававшему такой особенный колорит тобольскому культурному гнезду сороковых годов.

Между тем, Чижов приехал в Тобольск в 1834 г. (а может быть даже в конце 1833), а уехал, если верны наши предположения, в первой поло-

---

[1] А. К. Ярославцев. Цит. кн., стр. 45, 47 — 48, 49, 50 — 51.

[2] Речь идет о тобольском оркестре, переехавшем впоследствии вместе с корпусным штабом в Омск.

[3] С. В. Максимов. Сибирь и каторга. Ч. 3. Слб., 1871, стр. 34.

[4] «Омская область» 1939 г. № 7, стр. 60.

вине 1839 г., когда из Тобольска переселялся корпусной штаб. Значит, из декабристов он мог общаться только с Фон-Визиным и Краснокутским, да и то не долго. Волицкий, в качестве капельмейстера также переехавший из Тобольска в Омск с корпусным штабом, упоминает о своем знакомстве в Тобольске только с тремя декабристами: Чижовым, Фон-Визиным и Краснокутским.

Труднее сказать, отчего пребывание в Тобольске Чижова осталось неизвестным Дмитриеву-Мамонову, имевшему больше — к сожалению, даже слишком больше,[1] — возможности ознакомления с местными источниками. Вероятно сведения по надзору за Чижовым, как за солдатом, шли через инстанции и отразились не в тех архивных фондах, которыми пользовался Дмитриев-Мамонов.

Стихотворение Чижова на приезд наследника цитируется и в брошюре Егора Расторгуева «Посещение Сибири в 1837 году Его Императорским Высочеством Государем Наследником Цесаревичем» (Сиб., 1841. 2-е изд.— М., 1861), с указанием, что это стихотворение напечатано в «Русском инвалиде». Действительно, мы находим это стихотворение во 2-м номере «Русского инвалида» за 1838 г. Под ним подпись: «Чижов, рядовой 1-го Линейного Сибирского баталиона». А в предыдущем номере напечатаны стихи Ершова на то же событие. Оба стихотворения совершенно одинаково озаглавлены («Стихи на посещение Тобольска его императорским высочеством государем наследником цесаревичем») и несомненно присланы в редакцию вместе.

Мы обнаружили еще одну стихотворную публикацию Чижова в этот период, — и, вероятно, она тоже осуществилась благодаря литературным связям Ершова. В № 13 «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» за 1837 год (от 27 марта) помещено стихотворение Ершова «Час тайны» с пометкой «Тобольск, 1837», а через два месяца (перед самым приездом наследника в Тобольск) в том же журнале (№ 22, от 29 мая) появилось стихотворение Чижова «Русская песня» за полной подписью: Н. Чижов.

Вспомним, какие громы воздвиглись на Чижова, когда в 1832 г. в «Московском телеграфе» появился его «Якутский рассказ» в стихах «Нуча». После тяжких невзгод, пережитых им тогда, Чижов, очевидно, не стал бы рисковать вторично, если бы не имел мощной защиты. «Русская песня» (как и «Воздушная дева») была напечатана, надо думать, с разрешения Горчакова. Приведем это стихотворение целиком, так как оно осталось неизвестным историкам литературы и библиографам.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

У подгорья студены ключи шумят,
Льются, бьются и на миг не замолчат.

Такова у красной девицы печаль:
Друга милого покинуть сердцу жаль.
Злые люди отравили счастья дни,

---

[1] Все архивные материалы о ссылке декабристов в Тобольск в настоящее время утеряны. Они были взяты из архива в девяностых годах прошлого столетия бывшим тогда вице-губернатором Дмитриевым-Мамоновым, который на основании их написал книгу «Декабристы в Западной Сибири», но взятых материалов в архив не возвратил». — М. Копотилов. Декабристы в Тобольском крае. Тобольск, 1926, стр. III.

О любви моей доведались они.
Разлучили с милым другом, развели.
Но забыть его заставить не могли.
В лютом горе утешенье мне одно—
Сесть, задумавшись, под красное окно.
Может, милый друг по улице пройдет,
Грусть от сердца на минуту отведет.
Может, милый на окошко поглядит,
Красну девицу поклоном подарит.
Может, скажет, оглядевшися вокруг:
«Я попрежнему люблю тебя, мой друг!»

Стихотворение написано в модном, в 30-ые годы, жанре «Русской песни». Так же — «Русская песня» — озаглавлен ряд основных стихотворений Кольцова. Кстати сказать, и у Ершова мы находим стихотворение под тем же заглавием (1835 г. «Уж не цвесть цветку в пустыне...»).

Наконец, еще более показательна для использования Чижовым литературных связей Ершова публикация упомянутой выше «Воздушной девы». Она напечатана в «Утренней заре» на 1839 г. непосредственно за стихотворением Ершова «К музе». В том же альманахе напечатано еще одно стихотворение Ершова «Праздник сердца». Трудно усомниться в том, что стихи Ершова и Чижова были присланы вместе. Посланы они были не ранние сентября 1838 г., — стихотворения Ершова датированы 4 и 10 сентября 1838 г. Таким образом, дружеские отношения Чижова и Ершова документируются для 1836, 1837 и 1838 годов, т. е., очевидно, для всего времени совместного пребывания Ершова и Чижова в Тобольске.

В биографии Ершова, написанной Ярославцевым, мы не найдем никаких указаний на связи Ершова с декабристами, хотя Ярославцев несомненно знал о них. Обиняками он говорит о «нескольких очень образованных и даровитых личностях, случайно занесенных в тот край», между которыми Ершов «мог освежаться от обыденной губернской жизни», но называет из этих личностей одного лишь композитора Алябьева (стр. 46). Как правильно указывает М. К. Азадовский, реакционно-настроенный чиновник цензурного ведомства Ярославцев вообще стремится представить Ершова своим единомышленником на всем его жизненном пути.[1] Конечно, не по цензурным условиям не упоминает Ярославцев об отношениях Ершова с декабристами; в те же годы, когда вышла книга Ярославцева, из биографии В. К. Кюхельбеккера стало известно, что «автор сказки «Конек-горбунок» Ершов, служивший в Тобольске, был чтецом и ежедневным собеседником слепца-поэта».[2] Из позднейшей литературы стало известно о постоянном дружеском общении Ершова с четой фонвизиных, вокруг которой группировался тесный кружок тобольских декабристов, о связях его с ялуторовскими декабристами... Теперь мы узнаем о дружбе Ершова с первым тобольским декабристом, начавшейся сразу же по приезде Ершова в Тобольск.

Ершов и Чижов должны были сблизиться уже, прежде всего, как два поэта, заброшенные в провинциальную глушь. Чижов, как видно хотя бы по «Воздушной деве», был поэт далеко не бездарный. Долгие годы ссылки и солдатчины не убили в нем поэтических импульсов и интересов, не лишили его бодрости и юмора, ярко сказавшихся в его куплетах к

---

[1] М. Азадовский. Автор «Конька-горбунка». — В кн.: П. Ершов. Стихотворения. Л., 1936, стр. 13.

[2] «Русская старина», 1875, № 7, стр. 354.

«Черепослову», написанных в 1837 году. Можно себе представить, как должен был ему быть интересен Ершов — поэт, казалось, только начинающий свое поприще (в 1836 году ему был 21 год), но уже овеянный громкой славой автора «Конька-горбунка», только что вырванный из петербургской литературной атмосферы, оторванный от связей с Пушкиным, Жуковским, Плетневым, Сенковским, Бенедиктовым и множеством мелких литераторов.

А Ершова в Чижове, помимо его стихов, его огромного, необычайного и трагического жизненного опыта, должно было специально привлекать одно обстоятельство.

Все биографы подчеркивают твердое намерение молодого Ершова заняться изучением Сибири, путешествовать по ней, исследовать неизведанные углы русского Севера. Это стремление сыграло ведь свою роль в решении Ершова вернуться из Петербурга в родную Сибирь, взяв место учителя тобольской гимназии. А тут перед ним был человек, который, помимо невольных путешествий по Сибири, был участником одной из первых русских арктических экспедиций.

В самом деле. Мы знаем по «Общему морскому списку», что Чижов в 1821 г. на бриге «Новая Земля» плавал на Новую землю. Но ведь это значит, что Чижов — участник первой экспедиции Литке, достаточно известной в истории арктических плаваний.

Действительно, в отчете Ф. П. Литке читаем:

«Офицеры брига «Новая Земля» в 1821 г. были следующие: лейтенант Лавров, мичман Чижов, штурман Федоров и штаб-лекарь Тихомиров».

При этом Литке указывает:

«Выбор офицеров и служителей предоставлен был мне».[1]

Литке познакомился с Чижовым, очевидно, в Архангельске,—либо в 1821 г., либо еще в 1820. В эти годы Чижов был в Архангельске, как мы знаем из «Общего морского списка». Литке же в 1820 г. был, по собственному желанию, назначен в Архангельский морской экипаж, но пробыл в Архангельске лишь несколько месяцев, отплыв в июне в Кронштадт. В апреле 1821 г. Литке вновь прибыл в Архангельск, уже в качестве начальника экспедиции, и сразу начал формировать команду для предстоящего плавания.[2] Тут Чижов, — может быть, уже достаточно знакомый Литке по прошлогоднему пребыванию в Архангельске, — выразил желание и получил согласие на участие в интересной и опасной экспедиции.

Чижов был внимательным и заинтересованным участником экспедиции

В указателях литературы о Новой Земле[3] зарегистрирована статья Н. Чижова «О Новой Земле» — в 4-ом номере журнала — «Сын Отечества»

---

[1] Капитан-лейтенант Литке 1-й. Об экспедициях на Новую Землю. — «Записки, издаваемые Гос. Адмиралтейским департаментом, относящиеся к мореплаванию, наукам и словесности», ч. 7, СПб., 1824, стр. 8

[2] См. автобиографию Ф. П. Литке в кн. В. П. Безобразова «Граф Ф. П. Литке. I. 1797—1832». СПб., 1888, стр. 96 и 97 и книгу Ф. П. Литке «Четырекратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению императора Александра I на военном бриге Новая Земля в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке». СПб., 1828, стр. 127, 146—147.

[3] А. Ф. Шидловский. Библиографический указатель литературы о Севере. Новая Земля. СПб. 1910. Новая Земля. Библиографический указатель. Л. Севморпуть. 1935 (Всесоюзный Арктический институт).

за 1823 г. Чижов говорит в ней о местоположении, характере берегов, климате, ископаемых, флоре и фауне Новой Земли, о возможностях китоловного промысла, дает справку о путешествиях на Новую Землю. Несколько раз Чижов ссылается на собственные впечатления. Он рассказывает о китах и моржах, виденных с брига, о белых медведях, проплывавших в нескольких саженях от борта, о ловле хищных птиц—тулуланов с брига на удочку.

Но взяв в руки «Сын Отечества» за 1823 г., мы находим в нем (в № 12) еще одно произведение Н. Чижова, не зарегистрированное ни в каких библиографических указателях.[1] Это лирический очерк, озаглавленный «Одесский сад (Отрывок из Воспоминаний о Черном море)». В нем наиболее интересен конец: автор ночью в Одесском городском саду встречает погруженного в раздумье грека:

«Потомок Мильтиада и Эпаминонда, соотечественник Платона и Пиндара! Угадываю причину твоих размышлений! Отчизна занимает твою душу. Может быть, варвары умертвили твоего отца, брата, друга, может быть... Так! Твоя ненависть справедлива, твое мщение извинительно! Утешься, сын Эллады! Греция не может погибнуть. Ужели тот пламенник, который возжег просвещение в Европе, должен быть навсегда потушен варварами? Так! Не отчаиваюсь встретиться с тобою на гульбище Коринфском или на площади Афин найти тебя в долине Темпейской, на берегу Сперхия или у подошвы древнего Олимпа».

Так горячо выразил молодой поэт, будущий декабрист, сочувствие восставшим грекам, охватившее в то время всех людей декабристской идеологии и в особенности тех, кто в пору созревания или осуществления восстания оказался в зоне живого общения с греками, — как Чижов или как его великий сверстник Пушкин.[2]

5

Итак в творческое наследие Козьмы Пруткова инкорпорированы стихи поэта-декабриста, написанные за 20 лет до создания оперетты, в которую они вошли. Но остается вопрос: должны ли мы считать, что П. П. Ершов приписал себе когда-то отданные ему куплеты давно потерянного из виду и уже умершего приятеля? Для чего? Для авторской славы? Сочинения Пруткова печатались под его именем, и в ту пору, конечно, не предполагалось, что имена подлинных авторов когда-либо будут раскрыты. Да и нужна ли была автору «Конька-горбунка» слава случайного участника Козьмы Пруткова?

Мы не знаем, в каком виде были переданы Ершовым Жемчужникову куплеты под заглавием «Черепослов»; возможно, что они подверглись

---

[1] В том числе в специальных указателях и обзорах литературы об Одессе.

[2] Биографии Чижова не существует, но краткие биографические справки о нем имеются в ряде биографических словарей: декабристов, моряков, моряков-декабристов, декабристов-туляков, революционных деятелей вообще, сибирских писателей. Ни в одном из них не указано время его рождения. Между тем, в упомянутой статье Н. Н. Бакая «О литературных занятиях декабристов в Восточной Сибири» цитируется показание, отобранное у Чижова в 1832 г. Здесь сказано: «от роду 32 года» («Сибирские огни», 1922, № 3, стр. 61). Значит, Чижов родился в 1800 или 1799 году.

обработке «опекунов Козьмы Пруткова». Но, равным образом, не исключена возможность предварительной обработки Ершовым куплетов Чижова. Может быть, Ершов был вправе считать себя соавтором.

Возможна и иная версия. В. М. Жемчужников говорит в письме к Пыпину, что Ершов «знакомил его с прежними своими шутками». Быть может «Черепослов» был передан Жемчужникову вместе с собственными юмористическими произведениями Ершова, — а затем за тридцать лет Жемчужников, конечно, мог позабыть о том, что именно «Черепослов», выбранный им для присвоения Козьме Пруткову, Ершову и не принадлежал.

Для такого предположения есть косвенное основание—это след «прежних шуток» Ершова в одном из стихотворений Козьмы Пруткова.

П. П. Ершов, действительно, писал и шутливые стихотворения, хотя никогда их не печатал. В Омском областном краеведческом музее хранится рукописный том, представляющий собой 4 переплетенных вместе автографических тетради стихотворений Ершова. Здесь имеется первая песнь большой юмористической поэмы под названием «Нос (Лиро-эпическое произведение)». Одна из четырех тетрадей заключает собрание эпиграмм под заглавием «Parblen cn pour le b.en» Это цикл из 12 стихотворений, посвященных одному лицу — тобольскому городскому архитектору и довольно однообразно варьирующих одну тему: архитектор — ловелас. Приведем два стихотворения из этого цикла:
3-я эпиграмма:

В постройках изощрясь градской архитектуры,
Наш зодчий захотел девицам строить cour'ы
Но верен все-таки остался наш Протей
Строительной профессии своей:
Во всех делах его видны—одни фигуры.

8-я эпиграмма:

Постройки с танцами желая согласить,
Наш зодчий Дон-Жуан весь гений свой натужил,
И, нечего греха таить,
Разнообразные таланты обнаружил.
Но тут не разберет и самый Соломон —
Дурачится ли он или других дурачит:
Танцуя, cour'ы строит он,
А от построек долго скачет.

Здесь несомненный источник известной эпиграммы Козьмы Пруткова, носящей в разных изданиях заглавия«Эпиграмма № II» и «Опрометчивость»:

Раз архитектор с птичницей спознался,
И что же! В детище смешались две натуры:
Сын архитектора — он строить покушался,
Потомок птичницы — он строил только — куры.

Основа эпиграммы (архитектор строит куры) взята В. М. Жемчужниковым)[1] у Ершова, но ершовские «куры» превратились в прутковских кур — и следствием явился роман архитектора с птичницей. Великолепная нелепость этих каламбурных «кур» усвоила эпиграмму перу бессмертного директора Пробирной палатки, и из бесцветной шутки Ершова родился незабываемый прутковский гротеск.

---

[1] По указанию П. Н. Беркова эпиграмма принадлежит В. М. Жемчужникову, (К. Прутков. Полное собр. соч. М. — Л., 1933, стр. 593).

СОДЕРЖАНИЕ

Мих. Максимов. Победа (стихи). Москва (поэма) 3
Виктор Утков. Последний рубеж (главы из повести) 9
Марк Юдалевич. К Берлину подходят войска. О седине Земляк. Год победы (стихи) 32
Петр Радищев. Первая плавка (рассказ) 35
Николай Москалев. Самолет. Метеорит (стихи) 55
Сергей Залыгин. В лесу (рассказ) 57
Василий Угрюмов. Имя. Должник. Не грусти! Твоя улыбка (стихи). Медведь на переправе (басня). 62
Михаил Бударин. Хлеб (новелла) 65
Владимир Бухарцев. Дорога (стихи) 69
Венедикт Иванов. Регулировщица (стихи) 70
В. Н. Энгельгардт. Омар Хайям и его „Четверостишия" (статья) 71
Омар Хайям. Четверостишия (Перевод В. Н. Энгельгардта) . . 74
Леонид Мартынов. Из Шекспира (Неблагодарность). Из Теннисона (Ветер сладостный и свежий) 80
Ин. Шухов. Картины старого Омска (Из воспоминаний) . . . 82
И. Коровкин. Народные песни в Западной Сибири (статья) . 88
В. Бурмин. Тобольский гражданин Петр Ершов (статья) . . 100
Б. Бухштаб. Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов (статья 116

Подписано к печати 17|X 1945 г.
ПД21833. Тираж 10 000 экз.
Инд. X-5. 8¼ п. л., 8,56 уч.-изд. л.
Цена 4 р. 30 к.

Редакционная коллегия: *С. И. Жданов* (ответ. редактор)
В. С. Курнева
Б. Д. Шишакин
П. Л. Драверт

Адрес редакции альманаха: г. Омск, ул. Ленина 4, Омское Областное Государственное Издательство ОГИЗ'а,

Типография издательства „Омская правда", г. Омск, ул. Декабристов, 47.
Заказ № 2129.

~~4 р. 30 к.~~

0-43